22.126K

Мстера

ИЗ БИБЛИОТЕКИ
поэта
Дмитрия Николаевича Семеновского

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач _____

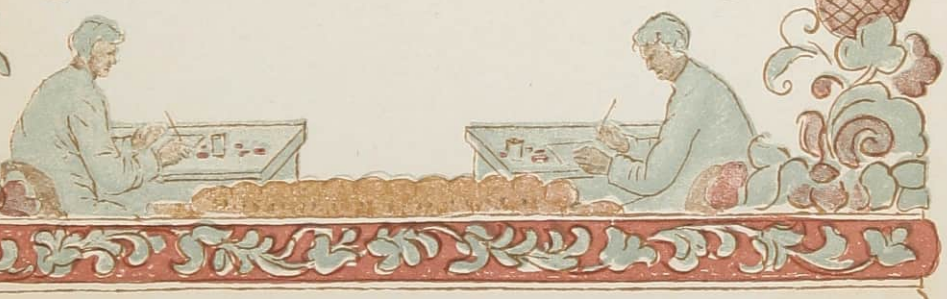
Воскр. тип. Т. 1 млн. З. 384—75

ЭКЗЕМПЛЯР
СИГНАЛЬНЫЙ

Дм. Семеновский

Дм. Семеновский

Мастера



кр 22.126

С 30

Ивановская
обл. библиотека
Кр. обяз. экз.

Заставки, концовки, виньетки и инициалы
исполнены коллективом художников
Мстеры.
Рисунок переплета по материалам
мстеровцев художника Л. Эппле.

-- 2010

Варваре Григорьевне
Семеновской

Мстера XII 30
А. Трагин
Мстера

ТРИ КОМПОЗИЦИИ

О широкой витой лестнице музея-дворца поднимались шесть мастеров села Мстера, шесть художников; они приехали на открытие выставки изобразительного искусства и на слет художников Ивановской промышленной области.

Мастера всю ночь были в дороге; казалось, еще пахнет от них полями и лесами, среди которых они ехали сначала на подводе, а потом на поезде в медленно занимавшемся осеннем рассвете.

Выставка встретила их сдержанно гудящей толпой посетителей, ослепила многоцветным вихрем размашистых мазков, пышной неподвижностью богато убранных панно, пестротой текстильных рисунков, драгоценным мерцанием раззолоченных миниатюр.

Мастера были степенны и праздничны: все при галстуках, в старомодных парах и тройках, пропахших нафталином кованых сундуков, некоторые в чесанках с калошами.

Мастера были в годах, все они вышли в художники из иконописцев, за плечами у каждого лежал длинный жизненный путь. Было на этом пути и плохое и хорошее. Но сейчас мастерам казалось, что самое хорошее у них—впереди.

Они переходили от картины к картине. Смотрели чужие работы. Видели — свои, выставленные на хорошем месте, против света.

Тут среди миниатюр были и три больших композиции на папье-маше, последние работы мастеров Мстеры.

«Праздник урожая» написал Василий Никифорович Овчинников.

Созревшие плоды, столы под деревьями, нарядные люди. К ширующим колхозникам приближаются два человека. В одном из них, по клину седеющей бородки, по лучам морщинок, по очкам на крупном носу, не трудно узнать М. И. Калинина. Он идет среди светлых вод, среди стад на лугах, машин на полях, как шел бы сотворенный народной поэзией Велес, сказочный хранитель скота, пчел и посевов. Идет он по возделанной земле — и все кругом дышит избытком, плодородием.

Рядом с картиной стоял сам Василий Никифорович. Он здесь такой же, как у себя в Мстере: худой, большелобый, хозяйственный, вечно чем-нибудь озабоченный.

Золотые завитки орнамента, обрамлявшие его картину, напоминали былинки и колосья тех полей, среди которых живут народные художники.

Совсем другой Александр Федорович Котягин, написавший композицию «Героика Советского союза». На его внешность и внутренний склад наложили отпечаток города, где он, бывало, работал, прочитанные книги, культура. Много видевший и знающий, он крепко и уверенно ступает по земле. Крупный, спокойный, чисто выбритый, он тоже был здесь, в зале, и твердым взглядом небольших карих глаз смотрел на картины и на посетителей выставки — на тех советских людей, образы которых народные художники показали в своих композициях.

Славой человеку, завоевателю пустынь, звучало его произведение мощным хором своих красок.

На картине — знойный день и грозная полярная ночь. Лагерь челюскинцев и герои ашхабадского пробега на конях. Белые колокольчики парашютов и тоннель московского метро. Палатки альпинистов. Автомобили, одолевающие песчаную равнину Кара-Кума. Водолазы, опускающиеся на дно моря. Все вместе создает то величавое настроение, имя которому: пафос советской героики.

А композиция Александра Ивановича Брягина «Путь к социализму» радостна, как весть о прекрасной жизни на прекрасной земле. Нежность и теплота ее колорита отражают нежность и теплоту, свойственные мастеру.

Сквер в цветниках и деревцах. Среди сквера — памятник: силуэтная фигура Ленина с призывно вытянутой вперед рукой. Люди в праздничных одеждах смотрят в направлении вскинутой руки. Есть какой-то ритм в их удлиненных телах, в их позах и в складках струящихся одежд. Люди видят сквозь просветы деревьев белое здание с колоннами — образ здания, возводимого на шестой части планеты.

Вереница тракторов движется среди цветов и деревьев. И люди тоже похожи на большие цветы.

И сам Александр Иванович Брягин все такой же, каким мы видели его летом в артельной мастерской мстерских художников,— с головой, склоненной немного набок, с добрыми серыми глазами,— стоял возле своей картины и рассказывал мстерские новости:

— Работа в нашей артели идет хорошо, и средства у нас есть...

Мы слушали Александра Ивановича, и нам виделась Мстера, лежащая в десятках километров отсюда, среди лесов и лугов. Нам вспоминались обступившие ее хмурые боры, широко размахнувшаяся пойма, светлые реки, поросшие у берегов камышом и кувшинками. И артельная мастерская, где народные художники писали свои композиции. И рыбацкие костры над Клязьмой. И нежный, сладкий запах шиповника, розовой колючей стеной вставшего по берегу. И пестрые гулянки в тени соловьиных рощ, над привольем лугов, живущих второй жизнью на миниатюрах мастеров Мстеры. И песчаная земля, на которой в палящий июльский полдень крупные цветы гвоздики кажутся алыми огоньками,—земля самоцветных кладов и пробужденных творческих сил.

Художники тонкой кисти

УТРО

ДАННИМИ июньскими утрами тиха, тениста Набережная улица, самая зеленая из улиц Мстеры. Шелестят в холодном ветерке за палисадами рябины, сирень, сребролистые тополя.

Утонул в зелени и дом художника Василия Никифоровича Овчинникова. Пред окнами мотают ветвями плакучие березы, на задворках раскинулся сад с яблонями, вишнями, сливами, с луковыми грядками и цветниками. Дом похож на украинскую хату, увит побегами фасоли, карабкающейся вдоль стен по веревочкам. Окна, в синих наличниках, смотрят за светлую Мстерку, в луговое приволье.

С небом сошлась даль цветущей, пахучей, вымытой росою поймы. Вся изрезанная руслами рек и речек, пойма глядит в небо голубыми глазами заводин и озер, окаймленных камышевыми ресницами. Среди этих рек и заводин, в несмятом травяном просторе, можно заплутаться, как в лесу.

С утра Василий Никифорович — в хлопотах, делах и заботах. Его легкая, узкая фигура мелькает то в саду, то на дворе, то на базаре. С плеч повисла коричневая полинявшая рубаха, подпоясанная низко на плоском животе. На голове сидит синяя выгоревшая панама. Запавшие глаза глядят прямо и открыто. Жесткие редкие усы чернеют над тонкогубым ртом.

Василий Никифорович гоняется в саду за соседским голенастым петухом, ведет к ветеринару захромавшую корову, приторговывает на базаре белобрюхого язя. И вот — потрудив-

шийся, но неуставший, он садится сам-седьмой за кухонный стол к самовару. Сидит на краешке стула, прямой, поджарый, готовый, не допив чашки, вскочить и пойти навстречу новым делам и тревогам.

В соседней комнате висит очень похожий его портрет. Художник Федор Модоров схватил на портрете другую характерную позу Василия Никифоровича: весь сложенный из острых углов, он сидит, как бы переломившись пополам и подперев щеку узкой ладонью. Таким Василий Никифорович бывает в минуты раздумий о жизни и лирических воспоминаний о молодых годах.

Но сейчас он трезво-будничен и спокоен. Пьет чай с дымящимися лепешками, глядит в окошко и думает о делах. Большой выпуклый лоб исписан морщинами. Вот надо крышу чинить: протекает. Столб надо ставить для электрической проводки,— придется покупать бревно. Квартиру надо приискать для московского художника, приехавшего в Мстеру на все лето. Василий Никифорович говорит сыну:

— Мне, Коля, сегодня некогда будет. Накоси корове травы.

Шестнадцатилетний Николай, белокурый, сероглазый, еще по-мальчишески хрупкий, отвечает коротко:

— Ладно.

Сын мстерского маляра, Василий Никифорович с детства был вынужден зарабатывать на хлеб иконописью; он остался полуграмотным и особенно ценит новую жизнь за то, что она поднимает наверх каждого, у кого есть разум и желание учиться. И, когда он видит своих детей за книгой, его сердце наполняется невольным уважением к ним и прекрасной гордостью.

Старшая дочь художника — учительница, вторая — студентка педагогического техникума, третья учится в средней школе.

Взяв с этажерки пачку бумаг, Василий Никифорович надевает свою панаму и выходит из дома.

Он идет в утренней прохладе, по сухой, крепко утоптанной тропе, мимо домиков с подзорами на окнах, палисадников, скамеек. Пересекает людную площадь, на которой галдит базар. Пред глазами блестят золотые буквы: Мстерская художественная артель «Пролетарское искусство».

Перешагнув высокую подворотню, Василий Никифорович вступает в артельный двор. Быстрые, длинные ноги мастера привычно пересчитывают полтора десятка деревянных ступенек крутой лестницы, ведущей на второй этаж артельного дома, в художественную мастерскую.

Восемь часов. За окнами — слепящий свет, суетливое чири-

канье воробьев на карнизе. Но комнаты погружены в прохладу и тишину. Народу в мастерской еще мало. В открытое окно залетает ветерок, трогает оранжевый шелковый абажур висячей лампы, шевелит на столе обложку «Истории живописи» А. Бенуа и застревает в складках тяжелых портьер. Как всегда, призывно смотрят в окна волнистые дали, сейчас повитые утренней дымкой.

Василий Никифорович садится за длинный стол, раскладывает перед собой растворенные в деревянных ложках краски, надевает очки с тесемочкой вместо сломанной дужки, берет тонкую кисть. Кроме ложек — перед ним еще треснувшее чайное блюдце для смешивания красок и поставец, на который опирается рука во время работы.

Василий Никифорович заканчивает миниатюру «Дом отдыха». На пластинке из папье-маше, крышке шкатулки, написано синее море, фантастические деревья с разноцветными ветвями, люди в белых одеждах возле белого дворца с колоннами. Лица людей еще не написаны.

Образы этих людей, густую синеву моря, теплое сиянье южного неба Василий Никифорович привез из Крыма, с курорта. Привез он еще куст желтой сирени. Сирень посадил в своем саду, а море, небо, зелень кипарисов разлились, расцвели, засияли на коробочке.

Собираются, подходят другие мастера. Приходит Александр Иванович Брягин, белокурый, с лучистыми глазами и какими-то связанными движениями, художник самородного и самоцветного таланта. Он — полная противоположность тревожному, неутомимому Овчинникову, а сидит рядом с ним, в одной комнате и за одним столом.

У каждого художника в мастерской — свое место. В соседней комнате работает бывший иконописец Григорий Тимофеевич Дмитриев, обладатель густых седеющих усов и такого же густого баса, запевала в артельных хорах. Рядом с ним сидят молодые мастера: Шилов, Гурьянов и Култышев. Они принадлежат к поколению, не заставшему кабалы иконописных мастерских, и знают ее только по рассказам старших. У девятнадцатилетнего Феди Шилова — круглое, полудетское лицо. Живет он в Коробах, ездит в артель на велосипеде. И когда его красная трикотажная рубашка мелькает среди овсов и ржи,— кажется, что это летит огромная божья коровка. Рыжеватый, голубоглазый Николай Култышев и его сосед по столу Николай Гурьянов вместе работают, вместе сидят на собраниях артели, связанные общим трудом, одинаковым возрастом и дружбой.

И в других комнатах большой артельной мастерской по-

Кр 22126

Ивановская обл. библиотека Кр. обяз. экз.

ставлены против окон те же длинные столы. За столами, в бодрой прохладе утра, в располагающем к работе уюте сидят над красками, над поставцами, над коробочками мастера: представительный Александр Федорович Котягин, сухой, загорелый Иван Николаевич Морозов, Александр Култышев и др.

Почти все они — потомственные живописцы. Их отцы, деды, прадеды всю жизнь писали иконы и церковные фрески. Иконописное ремесло переходило от поколения к поколению. Оно шло из столетий: от искусства раннего Новгорода, от великого мастера древнерусской живописи Андрея Рублева, от цветистого строгановского письма.

И хотя иконопись последнего периода уже не была художественным творчеством, а иконописец стал безличным выполнителем какой-нибудь одной из тех многочисленных функций, на которые распалось изготовление иконы,— тем не менее лучшие работники, занимавшиеся реставрацией художественной старины, сохранили мастерство отцов до нашего времени.

Свои познания, вкус и уменье они перенесли в нынешнюю миниатюрную живопись, внешние приемы и средства которой тоже заимствованы из иконописной мастерской. Палитру заменяют ложки без ручек. Краски творятся на яичном желтке. Тонкие кисточки живописцев связаны из мягких волосков беличьего хвоста. Рисунок обрамляется золотым орнаментом. Чтобы золото блестело, его шлифуют коровьим зубом. Так делали отцы и деды.

Но отцы и деды не рисовали на «мирские» темы.

В маленьких, утонченных росписях художников современной Мстеры живут образы, взятые из народных песен, из книг, из жизни. Тут и пушкинская сказка, и Степан Разин, и колхозный сад, и красноармейский лагерь.

В руках — широкая малярная кисть. Высокий, худой, с большим лбом, который еще увеличивала лысина, с бородой, вернее — половиной ее: другую вырвали в драке. Таков портрет Никифора Овчинникова.

Разница между кистью маляра и тонкой, как острие иглы, кисточкой миниатюриста — большая. Василий Никифорович Овчинников знает это по собственному опыту. Восьмилетним мальчиком он уже должен был помогать отцу.

Когда подрос, получил другую кисть, поменьше. Сделался иконописцем. Жил с семьей в Москве. Ценился хозяевами как хороший реставратор и знаток старых икон.

Ту тонкую кисточку, которой Василий Никифорович Овчинников работает сейчас, дала ему революция. Но прежде, чем получить ее, мастер должен был пройти суровую школу

жизни. Выучился на ткача. Жил в Вязниках, работал на фабрике. Начал кашлять кровью. Перешел на мстерскую клееночную. Побывал на курорте. Вылечился. Поступил в художественную артель, стал миниатюристом.

Иконописец Овчинников рисовал святых. Но его работа не была искусством, так как мастер был связан по рукам и ногам требованиями церкви. Не позволялось иконописцу удаляться от «Подлинников». А в «Подлинниках» говорилось: «Сей святой помогает от кумохи, сиречь трясовицы. Изображать его надлежит так...» И дальше следовало описание. Великомученика Пантелеймона полагалось писать в красно-зеленом одеянии, с ящиком в руках, Георгия — на коне и с копьем.

Вступив в художественную артель, Овчинников написал «Дом отдыха», «Бахчисарайский фонтан», «Бурлаков», «У колодца». Написал много других миниатюр на свои собственные темы, не придерживаясь никаких «Подлинников». И эта его работа стала искусством.

Вместе с Брягиным, Котягиным и другими мастерами Овчинников идет не только от иконописных традиций, но и от живой действительности. Рисуя новые свои картинки, он, в сущности, рассказывает о том, что видит, знает, любит, чем живет.

Дом Овчинникова смотрит окнами на пойму. В июле пойма покрывается стогами, подводами, народом. И Василий Никифорович изображает «Колхоз на покосе».

Он — цветолюб и цветовод. Вместе с женой и дочерьми ухаживает за мальвами и настурциями, выращивает белые шионы и маргаритки. Недаром и старшей своей дочери дал имя цветка: Маргарита.

Краски сада кисточка Овчинникова переносит на лакированную пластинку. У него — тонкое чувство колорита. Кисточка рассказывает о любви мастера к цветам земли, ко всему прекрасному и радостному.

Цветы в саду и на лугу отцветают, а краски на лаковой коробочке остаются все такими же свежими и яркими, возвещая о расцвете самобытного народного искусства, корни которого уходят в глубину столетий.

ВСТРЕЧА

Художник Федор Александрович Модоров рос в Мстере, учился в иконописной школе. Потом вместе с другими мстерцами — Брягиным, Антоновским, Бороздиным — работал на московского иконника Гурьянова. Но молодого Модорова тянуло к искусству. Стремление выбиться из иконописного ремесленничества заставило его учиться станковой живописи. Федор Модоров стал художником. И вот, войдя в мир прекрасного, он встретился там с теми, от кого ушел когда-то,— с бывшими гурьяновскими, дикаревскими, богатенковскими мастерами, которые тоже пришли в искусство, только другим путем.

И Федор Александрович, приехав на лето в родное село, в первый же день пришел в артель к Брягину и другим мастерам.

Он ходил по мастерской, широкий, крупный, благодушный, в своем легком летнем костюме немного похожий на белого медведя. Небольшие, будто припухшие глаза на лице с очень тонкой и чистой кожей смотрели весело и приветливо, узорчатая тюбетейка была надета на самую маковку. Постукивая тростью, гость обошел живописную мастерскую, поговорил с художниками. Вспомнил, как, бывало, писали у Гурьянова богородиц и угодников. Теперь мастера писали на папье-маше зажиточную жизнь и пушкинские сказки.

Гость прошел по двору в другие артельные цехи — в шумный и суетливый мир мечущихся рубанков, курчавых стружек, брызжущих опилок, банок с разведенной голландской сажей.

Большой пресс с винтом предназначался для превращения картона в папье-маше — в шкатулки, портсигары, очечники, чернильные приборы. В цехах все блестело от постного масла и пахло скипидаром. Маслом пропитывают картон, чтобы он стал твердым, как дерево. Скипидар входит в состав красящего вещества, которым чернят заготовки. От печей, где сушились заготовки коробочек, несло зноем и запахом сухой глины. Ею были наглухо замазаны печные дверки.

В заготовительных цехах прессовали, обтачивали, клеили, грунтовали, крыли лаком коробочки — заготовки. В отделочных — отделывали коробки, разрисованные живописцами.

Процесс превращения картона в зеркально-блестящую шкатулку с художественной росписью на крышке был сложен. Шкатулка проходила через десятки рук. Но сейчас Модорова занимал не столько производственный процесс, сколько люди, которых он давно не видел. Старички в мешочных фартуках черными от сажи руками грунтовали, пемзовали, отшкуривали. Почти все раньше были иконописцами.

Горбясь на некрашеной табуретке, привычно чернил коробку за коробкой дядя Яков Рачков, лицом похожий на бурята, страстный удильщик. Рядом сидел Дмитрий Трофимович Кулаков, в прошлом — хороший чеканщик по металлу, скуластый, с продолговатой головой в седых коротких волосах.

Модоров спросил стариков о житье, о здоровье. Дядя Яков ответил:

— От молодых в работе пока не отстаем.

А Кулаков рассказал, как в марте месяце хворал крупозным воспалением легких и как внимательно ухаживали за ним в больнице:

— Уж так хорошо, так хорошо ходили! Лучше родных!.. Хочу выразить врачам через газету благодарность...

В полировочном цехе, где неутомимо двигались руки с суконками, бригадир Павел Александрович Морозов, пожилой, солидный, спокойный, расставил пред гостем несколько законченных шкатулок:

— Вот посмотрите наши последние работы.

Были тут разные по качеству вещи. Были росписи мастеров и ученические копии. Экспортные миниатюры и ширпотреб.

Перебирая коробки, Модоров одно хвалил, другое—критиковал. Но основным его чувством было радостное удивление пред бурным, почти сказочным ростом бывших иконописцев. Четыре года назад нынешние художники были обыкновенными кустарями. Сейчас стало возможным говорить о творческом лице Брягина, о любимых сюжетах Овчинникова. Стало возможным говорить о самобытном стиле мстерской миниатюры. Художники стремились раскрыть себя шире, глубже. Они переходили к новым формам живописи: к станковой миниатюре.

Заготовки для станковых миниатюр, три больших «пластины», были отработаны и ждали кисти живописца. Их тоже показали гостю:

— Новое наше дело...

Модоров по очереди осмотрел каждую заготовку.

На пластинах еще не было ничего, но ему уже чудились линии будущего рисунка. Проступали очертания деревьев, горок, палат. Контуры покрывались красками, одевались прозрачными «плавями».

Три лучших мастера Мстеры будут работать над этими досками, прокладывая путь в искусство для всей артели художников.

Черный лак загорится бирюзовыми, алыми, желто-розовыми, серебристо-голубыми тонами.

СОБРАНИЕ МАСТЕРОВ

Перед концом рабочего дня прошел по цехам молодой и румяный артельный культурник, громко скликая всех на собрание.

Во дворе, за столом для президиума, сидел председатель артельного правления, голубоглазый, моложавый, с краснова-тым, воспаленным от солнца лицом, с тюбетейкой на бритой голове. Сидели рядом приезжие гости, художники из Иванова и Москвы: Василий Григорьевич Голубев и еще кто-то. Деловито склонился над бумагами секретарь собрания Александр Федорович Котягин.

Были на собрании мастера: Брягин, Овчинников, усатый Дмитриев, похожий на девушку Шилов, Гурьянов и Култы-шев-младший. Расписались на явочном листе: Култышев-старший, Морозов и другие.

Как разноцветные мазки на расписной коробочке, пестрели рубашки, галстуки, пиджаки. Цвела расшитая косоворотка Соколова, бывшего палешанина. Чернела заправленная в брюки рубашка столяра Одинцова. Широкую грудь его друга Киби-рева обливала голубая майка.

Пришел на собрание патриарх артели — Николай Про-кофьевич Клыков, круглый и розовый в свои семьдесят пять лет. Собрались другие живописцы, грунтовщики, лакировщики, полировщики. Одни — молодые; другие — умаянные жизнью: дядя Яков Рачков, Кулаков, Шишаков. Их морщины и седины рассказывали печальную повесть о работе на хозяев с рас-света до ночи, о лишениях и нехватках. Собралась вся артель, вплоть до вежливого, аккуратного старичка, сторожа Феокти-стыча.

Разные бывали в артелях собрания. Бывали — будничные, с очередной информацией, которую принимали к сведению. Бывали и бурные. Но это собрание мастеров и приезжих художников было особенным.

Человек поднимается на крутую гору. Он шел упорно и прошел много, но вершина еще впереди. Сейчас будет новый трудный подъем. Человек останавливается, чтобы со-

браться с силами. Он смотрит вниз, на пройденную дорогу, глядит вверх: далеко ли до конца? И снова бодро пускается в путь.

Вот на такую передышку пред новым подъемом и походило собрание.

Докладчик, заведующий производством, крепко сбитый черноволосый паренек, говоривший «порцыгары» и «пиналы», и сам не считал себя хорошим оратором. И все-таки, слушая его сообщение, каждый из сидящих на собрании мысленно оглядывался назад.

Начинали без денег. Расписывали подносы и деревянные ложки...

Теперь у артели — свои дома, школа, столовая, запашка. Нажита известность. Работники артели сделались мастерами, ибо всякий труд, доведенный до совершенства, становится мастерством.

Мастера живописи, полировки, оплавки смотрели на мастера Клыкова. Николай Прокофьевич снял с головы старомодный картуз. Беловолосый, степенный, в черном глухом пиджаке, он отер платком розовое лицо и заговорил:

— Раньше мы хоть и старательно работали, а назывались кустарями и вели кустарное существование. Теперь мы, конечно, все так же стараемся, а может, и еще больше. Только зовут нас уже не кустарями, а художниками. О нас теперь далеко слыхать. Значит, что же? Видно, мы и вправду выросли?

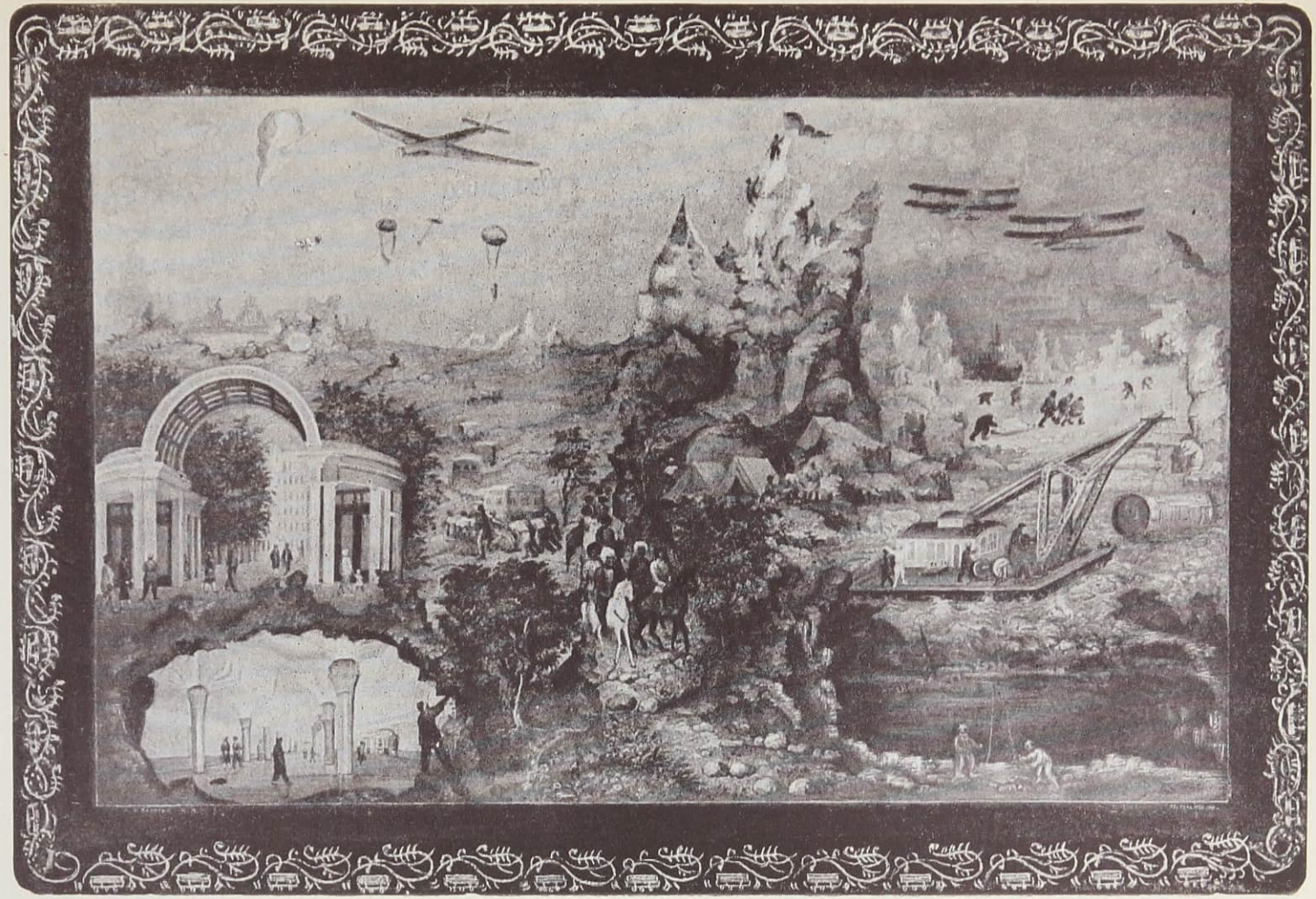
Он вопросительно взглянул на артельщиков своими старческими голубыми глазами и опустился на стул.

— Выросли, Николай Прокофьич, и здорово выросли! — крикнул Голубев.— Видел я сегодня вашу работу, чудесные есть вещи!..

Разные бывали в артели собрания. В другое время сколько было бы крику о производственных неполадках, о задержке зарплаты, о нерентабельности артельного «пригородного» хозяйства! Сколько бы вырвалось гневных слов о зажиме в артели демократического начала, о ненужных накладных расходах! Из-за всего этого стоило и волноваться, и кипеть. Но сегодня все это отступило на задний план пред основным, пред главным.

— Верно,— взял слово председатель,— достижения у артели есть, и не маленькие. Художников Мстеры прозвали «русскими голландцами», а это чего-нибудь да стоит. Но можно ли складывать руки? Можно ли успокаиваться на том, чего добились?..

Поднялся от бумаг Котягин, плотный, массивный. А когда заговорил, то массивным показался всем и его густой, низкий голос:



КОТЯГИН А. Ф. *Героика Советского Союза*

БРЯШИН А. П.

Битва

БРЯГИН А. И.

Уборка урожая в поле

Праздник урожая

БРЯГИН А. И.

БРЯГИН А. И. *Жатва*

БРЯГИН А. И. *Бахчисарайский фонтан*

БРЯГИН А. И.

Счастливая жизнь

КОТЯГИН А. Ф. *Сбор плодов*

КОТЯГИН А. Ф *Тройка*

КОТЯГИН А. Ф. *Сказка о царе Салтане*

КОТЯГИН А. Ф. *Русалка*

— Да, мы старые фрескисты. Кто сейчас работает над фреской в московском Кремле и в киевском Софийском соборе? Мастера нашей, мстерской, выучки. На церковной живописи нам трудно было развернуться. Сейчас — другое дело. У всех нас — сильное стремление к росписи стен...

Даже неохотно выступавший на собраниях Брягин сегодня изменил себе.

Ветер шевелил легкие русые волосы Александра Ивановича. Глядя куда-то вбок, мягким, немного хриплым голосом художник произнес:

— Самое-то трудное — позади. Случалось, что последние сапоги меняли на хлеб, да рисовали. А теперь что не рисовать! Когда видишь, что твоя работа нужна, что ее ценят, так вдвое силы прибывает... Желание к работе у нас большое, это верно!..

Брягин замолчал. Хотел прибавить еще что-то, но махнул рукой и сел.

Всем хотелось сказать свое слово.

Заговорили самые упорные молчальники, с трудом подыскивая выражения для ускользавшей мысли. Спрашивали, с чего начинать картину: с фигур или с неба, как это делает Брягин? И едва художник Голубев успел ответить, что в станковой живописи начинают с фигур, как раздался новый голос:

— Как должен работать мастер: по шаблону или по всем заучкам своего мастерства?

Грунтовщик Кулаков, чеканивший прежде иконные оклады, тоже хотел внести в производство свое мастерство.

— Нельзя ли чеканить к коробочкам металлические украшения: накладки к замкам, уголки?

Но хотели высказать свое и столяры, и полировщики.

Опиловщик Одинцов рассказал, как дружно работают столяры, как они придумывают разные улучшения.

Взять хотя бы его друга Кибирева: человек изобрел новую форму пресс-папье, без ручки. И проще делать, и места для росписи больше стало.

Полировщики рассказывали о своей работе. У них, в полировочном цехе, тоже есть свои мастера и ударники. Полировка требует умения и старания. Как довести коробочку до зеркального блеска? Надо полировать всей ладонью, чтобы от нее тепло шло и разогревало лак. Надо все время чувствовать под рукою живопись. Зрячей должна быть рука полировщика.

В полировщики поступил недавно и Василий Степанович Юрин, еще очень бодрый семидесятивосьмилетний старик.

Большой, в длинной с прозеленью бороде, как надречный вяз, он бубнил соседям:

— Кто до моих годов дожил, те давно на печи лежат. А я не хочу на печь. Мне что? Я тру да тру...

Наступает для человека такой час, когда невозможно сидеть в комнате. Стены кажутся слишком тесными. В голове так много мыслей, а в сердце — чувств, что они просят простора. Хочется куда-то итти, думать, говорить.

Художники Брягин и Котягин после собрания пошли не домой, а за Мстерку, в луга, затем, чтобы присмотреть место для уженья. Но выбор места был только предлогом.

Шли по мягкой тропе, окаймленной кашками, лютиками, лиловыми колокольчиками. В низинах густо голубели незабудки. Предзакатное солнце золотило траву. Чайки кричали над водой. В стороне паслось стадо, и мычанье коров звучало уже по-вечернему.

— Погодка! — с восторгом сказал Брягин.

Сейчас, когда художники шли рядом, было видно, как непохожи они друг на друга. Их можно было сравнить с двумя лучшими месяцами года: Брягин — мягкий, нежный апрель, Котягин — возмужалый, успокоенный август. Александр Иванович Брягин, в белой фуражке и низко подпоясанной, тоже белой, косоворотке, чуть-чуть склонив голову к левому плечу, своими серыми глазами радостно смотрел на реку и луга. Так как контуженная на войне шея его была неподвижна, то он, чтобы взглянуть на своего спутника, должен был повернуться к нему всем корпусом.

Александр Федорович Котягин голову держал высоко. Нес свое большое тело ровно и неторопливо. Был он в синей рабочей блузе, на голове фуражка с белым верхом.

— Воздух какой чудесный! — сказал Александр Иванович.

— Да,— сдержанным басом откликнулся Александр Федорович.— Да, хорошо.

Он повернул к Брягину лицо с тонким, слегка нависшим носом и большим подбородком. Солнечный луч зажег в его светлокарих глазах золотые искорки.

— Хорошо.

Теплый луговой ветер прикасался к лицам художников. Они шли над голубеющими заводями, с камышом и кувшинками у берегов. Много попадалось мест, удобных для уженья, но художники за разговором не замечали их.

— Интересное было собрание,— сказал Брягин.

— Почаще бы такие,— ответил Котягин.— Когда встречаешься с культурными людьми, то весь как-то наэлектризовываешься, обновляешься для работы...

Он взмахивал сорванной травинкой и светился возбуждением.

Говорили о станковых миниатюрах.

Оба художника давно выняньчили свои темы: Котягин — «Героику Советского союза», Брягин — «Путь к социализму». У обоих были готовы карандашные наброски задуманных композиций. Радовались, что не забыли заучку живописному делу, не бросили кисть для какого-нибудь другого занятия. В короткое время показали себя хорошими мастерами. И еще покажут!

— Еще поработаем, видно, Александр Иванович?

— Поработаем!

Большое вишневое солнце садилось в луга. И будущее казалось художникам таким же широким и манящим, как облитое солнцем раздолье.

ЛИРИКА КРАСОК

Александр Иванович Брягин первый взял одну из трех готовых пластин. Он добросовестно сделал подготовку вещи: прокрыл ее белилами, перевел на белое поле рисунок карандашного эскиза. После этого Александр Иванович приступил к живописи. Кисть он выбрал не такую, как всегда, а побольше, пошире.

Писать начал опять по-своему: не с фигур, а с неба, с облаков. Облака на картине грудились, как гроздья каких-то белых плодов. Художник смотрел в окно на голубое небо, потом — на свою работу. Смешивал краски. Искал подходящего тона. Задумчиво говорил:

— Да, придется нам поплавать с этими досками...

Приятно смотреть, как работает Александр Иванович. Сосредоточенный и спокойный, в очках, в белой сатиновой рубашке с отложным воротником, он кисточкой переносил краски с блюдца на пластину. Справа от него на столе — пачка паприс «Бокс» и эскиз композиции — бегло набросанные контуры человеческих фигур, зданий, деревьев.

Положив слой красок, Александр Иванович всем телом поворачивался на табуретке в нашу сторону. Объяснял:

— Писать яичными красками не то, что масляными. Чтобы усилить тон, приходится накладывать краски слоями. А класть новый слой можно только тогда, когда просохнет старый...

Белыми пятнами на географических картах обозначаются неисследованные земли. Вначале картина Александра Ивановича была сплошным белым пятном. Но кисть мастера, как неутомимый путешественник, изо дня в день терпеливо двигалась по белой пустыне. И в пустыне зацветали луга, вырастали деревья, вставали красивые дворцы.

Мы сравнивали картину с карандашным наброском. Александр Иванович, положив кисть, говорил:

— Эта штука, эскизы, много берет у нас труда. Над эскизом приходится крепко думать. Ведь надо добиться того, чтобы одна часть не выпирала против другой и все чередова-

лось и связывалось. Эту работу приходится делать безовременно, в часы отдыха...

Он подбирал тона, как подбирают цветы для букета. Писал и все дивился тому, что вот сидит он в чистой, уютной комнате, рисуя миниатюры, о которых пишут в газетах и журналах.

А давно ли он стрелял из винтовки, копал гряды, за рожь и картошку «размывал» церкви?..

Живет Александр Иванович на Нижней улице, в серых песках которой буксуют колеса грузовиков с клееночной фабрики. Двухэтажный полукаменный дом раньше был постоялым двором и чуть ли не разбойничьим притоном. Скукой российских захолустий веет от его потемневшей тесовой обшивки. Теперь дом заселен работниками артели. Квартира Брягина — вверху.

Поднявшись по расшатанным ступенькам крутой лестницы, мы нащупывали низкую скобу и, отворив дверь, сразу попадали в просторную белизну.

Нас усаживали за стол, застланный очень опрятной скатертью. Возле стола зеленел большой фикус. На глянцевитых его листьях не было ни пылинки. На столе появлялась блистающая все той же чистотой чайная посуда. Появлялись в тарелках мятные пряники, печенье, яблоки, вымытые до лакового блеска. И Анна Никифоровна, черноволосая, смуглая, в белой кофте, сыпала вологодским говорком:

— Пожалуйста, возьмите печенья... и яблок тоже...

Вещей в комнатах немного. Ничего лишнего. Никаких безделушек и ненужностей, засоряющих квартиры мещан. Пол тщательно выскоблен. Потолок оклеен белой бумагой, стены — розовой. А пышная, как будто неприкосновенная постель даже в самый жаркий день похожа на нетающий сугроб.

Простота этих комнат удивительно гармонирует с внутренним миром Александра Ивановича.

С гостями Александр Иванович говорит о том, что считает самым главным в своей жизни: о миниатюрах, о работе в музеях. Вспоминает, как разрисовывал в Вологде ковши и братины. Показывает каталог, где названы и его работы. Показывает наброски с натуры.

— В молодости, когда я жил в Москве, посещал студию Паманского. Вот и теперь учусь...

Он припомнит, как в двенадцатом расчищал в Троице-Сергиевском музее рублевскую «Троицу», мировое произведение искусства. Расскажет гостю о старинных фресках, которые ему приходилось реставрировать, о деревянных северных

церковках, затаившихся среди лесов и озер, о великих реках, темных борах, тихих зорях. Назовет Новгород, Старую Ладогу, спасо-нередицкие росписи. И о технике реставрации расскажет Александр Иванович.

— Это тоже своего рода искусство. Тут требуется знание различных приемов, навык и любовь к живописи,— скажет он, делая скупые жесты.

И приведет пример:

— Вздувшуюся пузырями, готовую осыпаться краску древней росписи неискусный реставратор просто счищает со стены или доски. Освободившееся место он замазывает под цвет старой краски. Это — варварский способ. Не так поступает работник, знающий дело. Проколов слой оставшейся краски, он заполняет пустоту клеем или мастикой и после этого осторожно разглаживает неровности. Такая работа требует терпения и времени, зато написанная столетия назад фреска сохраняется еще на долгое время.

Брягин был одним из лучших реставраторов. Но об этом промолчит скромный Александр Иванович. Об этом гость услышит позднее от других.

В Брягине нет того беспокойства, которое заставляет Василия Никифоровича Овчинникова вечно волноваться и хлопотать. Александр Иванович редко выступает на артельных собраниях с критикой. Если в артели сделают что-нибудь не по его, он скажет:

— Наши-то делаки опять начудили...

И снова возьмет кисточку, чтобы писать «Железный поток» или «Уборку урожая».

Все его душевные силы сосредоточены на том деле, которое он считает главным. Но жизнь вела его к этому делу извилистыми путями. Через иконописные мастерские. Через окопы и больничные бараки. Через тифозный бред, голод и опасности.

Александр Иванович достал из потемок своего крыльца пук сухих удильников. Осмотрел лески. Нынешним летом он в первый раз собрался, наконец, на рыбную ловлю.

К воде, к зеленым берегам, к звукам и запахам лугов привязался он с младенчества. И, когда шестнадцатилетним подростком впервые приехал работать в Москву, его все тянуло назад, на приволье Мстеры. Хозяин иконописной мастерской Гурьянов, старавшийся связать своих мастеров контрактами, приставал и к молодому Брягину:

— Давай подписывай условие на год.

— Погожу, Василий Павлыч...

Так и не подписал. А как только бульвары оделись первой зеленью, Брягин не выдержал: купил на вокзале билет и без копейки в кармане поехал домой. Отец встретил его вопросом:

— Денег привез?

— Нет. Вот гармонь за восемь рублей купил.

— Гармонь? На что она?

— Играть.

Однако играть при отце не смел. Уходил на задворки и там в одиночестве наслаждался музыкой. А то шел с удочками на Мстерку, на Клязьму, на розовый Шиповый Яр...

Вот и теперь, вскинув на плечо пару удильников, Александр Иванович отправился на реку. Миновал мельницу. Берегом Мстерки дошел до любимого своего места, напротив строчевой фабрики. Тут, бывало, попадались крупные плотки.

Клевало плохо. Солнце грело шею. Комары тонко плакали над ухом. Александр Иванович глядел на снесенные течением поплавки, на затененную воду с осокой у самого берега.

Тихо струилась вода. Она как будто смывала дневную усталость с души Александра Ивановича. Она текла, как жизнь.

Лет сорок назад так же глядел на бегущую реку Саша Брягин-Рокин. (Была у него еще вторая фамилия — Рокин.) Когда наклонялся над водой, в ней отражались белые вихры и загорелое лицо. Приносил матери маленьких серебристых рыбешек. Мать была худа, измучена родами, большой семьей, работой. По вечерам устало качала ногой зыбку, а руками вышивала. Детство прошло быстро. Работал иконописцем. Перед войной поступил реставратором в Петербургский Русский музей. Началась война. Рядовой Брягин сидел в окопе и стрелял. Германский снаряд завалил Брягина землей. Откопали. Лежал в лазарете. Контуженная шея осталась парализованной, но едва ли могла избавить от фронта. А второй раз попасть в окопы не хотелось.

Выздоровевших начали распределять по специальностям:

— Кто из вас шоферы? Выходи.

— Я — шофер! — крикнул Брягин, выступая вперед.

Записали в запасную автомобильную роту. Она находилась в Царском Селе. Служили в ней артисты, художники, писатели. Из новых товарищей запомнился поэт Сергей Есенин, светлый, голубоглазый паренек в солдатской гимнастерке. Он обходился одинаково просто и с прославленным актером и с солдатом, чистившим отхожие. Лежа вниз животом на койке, выкрикивал озорные частушки, вызывавшие общий хохот. Управлять автомобилями Брягину не пришлось. Его как

живописца заставили расписывать Трапезную, в которой принимали иностранных гостей. Приходил Есенин. Смотрел, как работает Александр Иванович, спрашивал его о древней живописи.

А скоро пришлось перейти на другое дело: закрашивать гербы и надписи на вагонах императорских поездов петроградского узла. Работа была веселая, но запоздалые февральские морозы семнадцатого года проникали сквозь солдатское сукно до самого тела. Простудился и на три месяца слег в лазарет.

Потом реставрировал фрески в московском Кремле и в Петрограде. Коллегия по охране памятников старины послала Брягина в Новгород. Здесь он заболел сыпняком. Валялся в холодном бараке. Выписавшись, сел в битком набитую теплушку и поехал на родину. Шатаясь от слабости, исхудавший, в изношенной шинели, шел со станции в село. Был девятнадцатый год. К деревням крались тощие волки. Рвали в клочья собак и овец. Безработные иконописцы ездили за хлебом и сажали картошку. По вечерам сидели с гасиками. Жить было нечем, делать было нечего. Александр Иванович пошел в военкомат:

— Мобилизуйте меня в Красную армию.

— Да ведь твой год еще не призывается?

— Все равно, не сегодня, так завтра придется служить...

Приняли. Назначили в войска внутренней охраны. С отрядом разыскивал по деревням дезертиров и зеленых. Задерживал бандитов. Метели. Прясла, увязшие в сугробах. Седые леса. Морозы. Настороженные взгляды деревенских богатеев.

Тут в судьбу Александра Ивановича вмешался отдел музеев при Наркомпросе. По ходатайству отдела, был красноармеец Брягин откомандирован в Москву на прежнюю работу реставратора.

Работал в Сергиевском музее. По вечерам уходил в осенние поля. Однажды помог какой-то девушке выкапывать картофель. Разгоряченный, посидел на холодной земле и тяжко захворал ишиасом. Врач сказал Брягину:

— Поезжайте-ка, голубчик, в деревню. Лечитесь жаркой баней и горячей печкой...

Снова пришлось жить у отца.

Чтобы не быть в тягость семье, работал в огородах. Начал «размывать» за хлеб церковную живопись — счищать со стен многолетнюю копоть свечек и лампад. Тогда, в двадцатом, ржаной каравай имел очень большую ценность... «Размывая» церковь в соседнем Троицком-Татарове, чуть не

расшибся. Работал под куполом, стоя на высокой передвижной лестнице. В руках была мочальная кисть. Под ногами — узкая дощечка, скользкая от стекавшей сверху мыльной воды. Ноги поехали. Александр Иванович полетел вниз, но успел за что-то ухватиться и не разбился.

В двадцатом году мстерские строчеи, столяры и бывшие иконописцы объединились в союзе Рабис. Нашлась в нем работа и Александру Ивановичу. Был инструктором по росписи деревянных поделок. Выбрали в правление. Через полгода вместе с другими ответственными работниками союза поехал на продовольственную работу в Сибирь. Хлеб все еще был главным для страны, измученной тифом, блокадой, фронтами.

Александр Иванович боролся за хлеб для страны и революции.

Ко времени возвращения Брягина из Сибири в Мстеру живописно-столярно-строчевой союз распался. А рисовать хотелось.

С Котягиным и Куликовым сколачивал артель древнерусской живописи. Начинался 1923-й год. Работать приходилось много. Часто ездил в Вязники. Ходил по фабрикам, собирая заказы на картины-ковры. Вернувшись домой, заполнял конторские книги. Творил краски. Писал. Дела шли плохо. Артель начала торговать игрушками. Александр Иванович хотел не торговать, а рисовать. Опять поехал по музеям, по городам...

Чуть-чуть дрогнула пробка поплавка. Тянуть или подождать? Но больше не клевало. А солнце ушло за куст. Тень на воде выросла. На том берегу молодые строчеи садились в лодку. Белели кофточки. Рокотала гитара. Звуки шли по воде, мягкие и гулкие.

...Да, всему свое время. Александр Иванович рос тихим и несмелым, но и его не обошла любовь. В Вологде встретился с Анной Никифоровной. В мае 1931 года приехал с женой в белую от черемухи Мстеру искать вместе с артелью путь в искусство...

Тихо струится Мстерка.

В сумерки Александр Иванович с удочками и ведерком возвращается домой. На востоке бесшумно вспыхивают голубые зарницы, словно кто-то пробует зажечь отсыревшую спичку. Справа, на горе, смутно белеют стены монастырского кремля.

Александру Ивановичу хочется перевести все это в краски, в их музыку. Его томит желание показать людям, как радостна и прекрасна земля, как достойна она такой же прекрасной и радостной жизни. Он думает о своей композиции «Путь к социализму».

Брягин лиричен в своей живописи, как лиричен в жизни. Сочетания красок на его миниатюрах глубоко музыкальны.

За какой-то особенный блеск живописи, за смелость рисунка искусствоведы называют его Брюлловым миниатюры. Рисует ли Брягин «Сказку о царе Салтане», вдохновляется ли «Железным потоком», или изображает «Путь к Октябрю» — сцены гражданской войны, с портретом товарища Сталина в середине, — во все он вносит артистичность зрелого мастера.

Удивительны тона Брягина. Они так теплы и прозрачны, как будто озарены изнутри, из-под красок идущим светом.

Брягин — определившийся художник. Глава школы. Имеет последователей и учеников. Но он — искатель, новатор. И бывали такие случаи. Александр Иванович почти закончил вещь, но все еще недоволен ею. Он твердит:

— Не то... Не так...

Думает. Всматривается во что-то, видимое только ему. И вдруг начинает все переделывать заново.

Мстера выдвинула целый ряд талантливых мастеров. Большинство их работает в своей привычной манере, в десятый и сотый раз добросовестно повторяя найденную однажды красоту.

— Мстерские мастера не композиторы,— сказал один из наших знакомых.— Они лишь хорошие музыканты, виртуозно играющие кистью и красками...

Если эта фраза верна в применении к известной части мастеров, то она никак не подходит к Брягину. Он — композитор в самом высоком значении этого слова.

Ему чужды успокоенность, застой.

В каждой своей миниатюре Брягин ставит пред собой новую задачу. Сохраняя основные особенности своего письма, он стремится к таким построениям и сочетаниям красок, каких не знали его прежние работы.

У Брягина постоянно возникают новые планы. Многие — ждут своего осуществления месяцами.

Александр Иванович затеял нарисовать на крышке пудреницы миниатюру «Танец». В замысле заключался маленький композиционный фокус.

Фигуры танцоров художник хотел разместить по окружности крышки. Если вращать коробочку вокруг ее центра, то вместе с коробочкой завертелись бы, пошли бы по кругу и нарисованные танцоры.

— Давно собираюсь написать такую штуку, да вот все некогда...

А вернувшись с крымского курорта, Брягин говорил:

— Вот после Анапы задумал новую вещицу. Чувствую, что по краскам будет что-то интересное...

Нужно было изобразить вечернее море, вырезанные на его густой синеве очертания белого дома, группу людей в лучах фонаря.

— Прошлой ночью не спалось. Все думал, как написать,— рассказывал Александр Иванович, светясь задумчивой улыбкой.— У меня часто так-то бывает. И до того ясно представляешь себе картину, что хоть бери карандаш и зарисовывай...

Иконописец-ремесленник не ведал творческой бессонницы. Работа по стандарту в мастерской хозяина-эксплоататора подавляла в нем всякий творческий порыв, всякое проявление самостоятельности. Для человека с талантом это было мучительно. Недаром Брягин еще задолго до прекращения иконописи хотел бежать из иконописцев в аптекарские ученики.

Для того, чтобы получить право на творческие волнения, иконописец Брягин должен был взволноваться великими волнениями революции и вместе с нею пойти против того мира, частицей которого была хозяйская иконописная мастерская.

ГОЛОСА МИРА

Когда Брягин начал свою композицию, Котягин был в отпуске. В артель приходил только за газетами и журналами.

Июль начался грозами и ливнями.

В ненастье Александр Федорович сидел за чтением. Или пробовал недавно полученный из Москвы радиоаппарат. Из эфира входили в дом голоса со всего света. Москва, Прага, Будапешт, Париж слали в дом народного художника лекции, фокстроты, свежие новости.

Да, мир для Александра Федоровича не ограничивался стенами его дома, артелью, селом. Самоучка, не окончивший даже мстерской иконописной школы, он хотел все знать, все понимать, охватить разумом все области жизни.

Дождь мыл стекла, затененные тюлевыми занавесками. На подоконнике лежала последняя книжка «Нового мира» и «Сказание об Иоанне Грозном» Альберта Шлихтинга. Большеухий котенок с прилипшей к нежному хребту шерсткой карабкался с улицы в раскрытое окошко. Фыркал, отряхивался, прыгал на колени к читавшему Александру Федоровичу.

— Что, озяб? Вымок?..

Большая рука прикасалась к мокрой шерсти. Котенок перевертывался на спину, кусался. Серый пух на животе чуть голубел. В круглых голубоватых глазах чернели палочки зрачков.

Ливень стихал. Светлело за окнами. Сквозили в облаках синие прорехи.

Александр Федорович шел в поле думать и вспоминать. Иногда ходил с ним и я. Заложив руки за спину, крупный и медлительный, он шагал по дороге, сбегавшей вниз, к речке Таре. Впереди лежал холмистый простор, комьями снега белели на луговине гуси. За Кусуновской мельницей синел лес — ужиные места. Правее, за долиной, по которой течет Тара, на пригорке раскинулись поля, белела колокольня села Акиншина.

Александр Федорович садился на пенек и курил. У ног его зеленым воском лоснился брусничник, краснели сережки

земляники. Среди травы и цветов лежали наши удочки. Ушедшее за деревья солнце золотило вершины.

— Хорошо,— говорил Александр Федорович.— Ветерок, лес, птички поют — что может быть лучше? А несколько лет назад не верилось, что и жив буду...

Осенью 1914 года, как только началась война, иконописца Котягина одели в солдатскую шинель и посадили в окопы под огонь.

Котягин, как в погребе, сидел в земле и нажимал спуск винтовки. Вдруг закричали:

— Обходят!..

Котягин выбрался из окопа наверх. Тишина. Голубое небо. Теленок пасется возле жита. Солнце блестит в заводине. Но вот из-за пригорка показалось два немца. Один — рослый, толстый, краснолицый, другой — помельче, пониже. Котягин бросил винтовку и поднял руки кверху. Немцы подбежали к нему вплотную. Толстый, с выпученными глазами то наставлял на Котягина свой штык-нож, то совал ему в руки поднятую с земли винтовку, предлагая сразиться. Котягин винтовку не брал. Другой немецкий солдат, показывая руками в стороны, все спрашивал о чем-то. Котягин разобрал слово «штык». Много позднее, в плену, он понял, что его спрашивали:

— Сколько вас штук?

— Не разумю,— твердил он, держа руки над головой.

Подошел офицер. Крикнул:

— Halt! [1]

Солдаты вытянулись. Офицер что-то сказал. Толстый перешиб о колено винтовку Котягина и закинул ее в заводину. Раздалась команда:

— Marsch!

Котягина повели. Раскинув руки, лежал убитый. Рядом — тяжело раненый товарищ по роте. Он прохрипел:

— Котягин, скажи немцам, чтобы меня прикончили!..

Толпу пленных на ночь заперли в сарай. Следующую ночь они провели на поляне под русскими снарядами. В наглухо закупоренных теплушках их привезли в маленький немецкий городок.

Прежде чем разместить пленных по баракам, их заставили выстроиться в ряды по четыре человека. Усатый унтер в каске крикнул на ломаном русском и немецком языке:

— Чичире! Zu-vier! [2]

---

[1] Стой!

[2] По-четверо!

Погнали в баню. Обращались, как со скотиной. Немецкий солдат, зацепив Котягина клюкой за шею, вытащил его из рядов. Машинкой для стрижки овец с него сняли волосы. Затем — две минуты под душем. Два часа на сквозняке без одежды,— она дезинфицировалась в котле, наполненном паром.

Потянулись дни голода, издевательств, непосильного труда. Не раз Александр Федорович глядел в глаза смерти. Однажды часовой чуть не застрелил его за отказ выйти на работу.

Бежал от живодера-помещика. Скрывался по лесам и оврагам. Голод погнал тогда Александра Федоровича в лагерь военнопленных, где он жил до водворения к помещику. Недалеко от лагеря, в городке, его задержали немецкие солдаты. Начали допытываться:

— Какой команды?

Александр Федорович притворился непонимающим, отвечал по-польски:

— Не разумю.

Глядя на грязную, изношенную одежду пленного, солдаты дивились:

— Какие эти русские идиоты! За несколько лет плена не сумел научиться языку страны. Вот осел!

Александр Федорович на нелестные прозвища не обиделся. Он радовался: «Поверили!»

Ему скомандовали:

— Nach Lager! Zurück, zurück![1]

И привели в лагерь к землякам.

Пять с половиной лет пробыл он в плену. Вернувшись осенью 1920 года на свою московскую квартиру, узнал, что жена вышла за другого. Поехал на родину, в Мстеру.

Котягин был живой частицей людских масс, мчавшихся через бури войны и революции. И может быть, именно эти переживания углубили и определили сознание художника. Может быть, они вызвали в нем те новые мысли и чувства, которые он сейчас выражает в красках своих миниатюр.

Довоенный путь Александра Федоровича был обычным путем мстерского иконописца.

И дед и отец писали иконы, расписывали церкви. Мстерские купцы оставляли своим детям капиталы. Федор Котягин был беден и мог передать сыну в наследство только ремесло «богомаза». Ремесло не было прибыльным. В мастерской мстер-

---

[1] В лагерь! Назад, назад!

ского иконника Цепкова пятнадцатилетний Александр Котягин получал сорок рублей в год. От Цепкова пошел к другим хозяевам.

Перевидал сотни старинных икон. Научился ценить то замечательное искусство, которое родилось столетия назад под кистью Рублевых и Дионисиев. Изучил новгородский стиль, московское и строгановское письмо. Усвоил технику реставрации.

Летним вечером Александр Федорович передавал свое впечатление от прочитанного в «Правде» отзыва Ромэна Роллана о рублевской «Троице». Говорил с гордостью:

— Вот ведь не раскрашенная фотография ему понравилась, не какой-нибудь нос башмаком, а Рублев — строгость линий, гармония колорита, стройность композиции!..

Мастеру было приятно, что побывавший в Третьяковской галлерее друг Советской страны похвалил шедевр древнерусской живописи, от которой шли народные художники современной Мстеры, в том числе и он, Котягин.

Но не одни иконы замечал на своем пути Александр Федорович. Видел он много людей, сел, городов.

Жил по разным местам России. Даже за границей побывал: расписывал старообрядческую церковь в австрийском селе Климоуцах.

Во время революции, как и Брягин, работал в Сибири продовольственным инспектором. Вместе с Брягиным устраивал в Мстере художественную артель.

«Мы любим плоть, и вкус ее, и цвет»

А. Блок. «Скифы»

В августе падают с яблонь твердые, ярко окрашенные плоды. Они лежат в траве, такие завершенные в своих очертаниях и раскраске! В них нашла предельное выражение та сила, которая выгоняла почку, развертывала лепестки цветка, оплодотворяла пестик и растила тело яблока.

С вызревшими плодами хочется сравнивать и миниатюры Котягина, яркие по краскам и четкие по рисунку. Его композиции так же цельны, как целен и колоритен облик самого мастера. Одетый в темносиний халат, в роговых очках на тонком носу, Котягин терпеливо сидит за столом мастерской — работает. Спокойная, уверенная в себе сила, которая чувствуется в мастере, присутствует и в его произведениях.

Иконописец изображал витязя в золотом венце, разящего копьем дракона. Александр Федорович Котягин взял у витязя

коня, запряг его в телегу и заставил возить материалы для починки дороги. В помощь коню и человеку он прибавил машину, которой не было на иконе. Прибавил пчелиные соты корпусов, вставших на горизонте.

Совсем мало иконописного и в людях, изображенных на миниатюре «Дорожное строительство».

Котягин сильными, ясными тонами возмужалого августа одевает и пушкинскую сказку, и народную былину, и такие темы, как «Зажиточная жизнь колхозника». На миниатюре «Зажиточная жизнь» написаны осыпанные красными плодами деревья, игрушечные домики пасеки, упитанные животные на лужайке.

Старая Мстера наряду с дорогой стильной иконой выпускала и дешовку — «листоушки» и «золоченки». То были иконы не очень «мастеровитого» письма, но специалисты находят в них и некоторые положительные качества, сближающие их с цветистыми народными лубками.

Мастер сильного цвета, Котягин в некоторых своих работах тоже тяготеет к лубку. В миниатюре «Вечор поздно из лесочка» он сознательно придал фигурам людей и животных сходство с кустарными куклами. В изображении барина — в деревянности его позы и особенно в выражении лица — чувствуется тот народный юмор, которым так насыщены наши сказки о господах и духовенстве.

Такова же другая миниатюра Котягина — «Нападение медведей». Так и кажется, что эти медведи, напавшие на испуганных путников, и сами путники, в старинных поярковых шляпах и кафтанах, сошли на миниатюру народного художника с какой-то старой лубочной картинки. Это примитив, понятный и неискушенному зрителю и разборчивому знатоку,— примитив, ставший драгоценным от вложенной в него изощренной техники.

Но громче и сильнее всего краски Котягина прозвучали в его «Героике Советского союза».

КОТЯГИН А. Ф.

Охота (Шота Руставели—Барсова шкура)

КОТЯГИН А. Ф.

Крестьянин и река

ОВЧИННИКОВ В. П. — *Степан Разин*

ОВЧИННИКОВ В. П. — *Пушкин в Крыму*

ОВЧИННИКОВ В. Н. — *Красноармейцы на отдыхе*

ОВЧИННИКОВ В. Н. — *Бурлаки*

ОВЧИННИКОВ В. Н. *Разведка*

ОВЧИННИКОВ В. Н. *Рыбаки*

КОТЯГИН А. Ф. *Братья разбойники*

КЛЫКОВ И. П. *Во саду ли в огороде*

КЛЫКОВ И. И. *Капитанская дочка*

КЛЫКОВ И. П.

Дубровский

ИСТОКИ ПРЕКРАСНОГО

В честь друзей Мстеры был устроен артелью на Шиповом Яру пикник. Над Клязьмой, среди зарослей розового шиповника, бледно горел костер, споря с заходящим солнцем. В огромном котле закипала уха. Варили ее с рыбьими пузырями и ветками дикой смородины, которая росла тут же, по берегу. За приготовлением ухи следил артельный завхоз Александр Николаевич Куликов, длинный и сутулый.

В ожидании пира все гости и мастера смотрели с обрыва, как на воде мелькает сносимое течением черное пятнышко — голова переплывающего Клязьму купальщика. Пловец достиг противоположного берега и, стоя по грудь в воде, закричал:

— Ого-го-о!..

Распорядителем пира был Василий Никифорович Овчинников. Высокий, в синей детской панаме и черном длинном пальто, он хлопотал, рассаживал гостей, разливал по тарелкам уху, наполнял рюмки. Возглашали тосты. За артель. За друзей артели. За советское искусство.

Кто-то из гостей наводил на компанию объектив фотоаппарата. Боясь мигнуть, все глядели глазами в слезе в одну точку. И все-таки, как это бывает часто, пропустили самый важный момент: кто мотнул головой, кто засмеялся.

Сидели на ивовых ветках, на разостланных пальто, на траве. Перекидывались шутками. Беззлобно подсмеивались над одним из гостей, которого в прошлом году «угостили мошкой». Был май. Так же вот всей артелью варили в лугах уху. Полчища мошкары облепили людей, летели в костер, падали в тарелки. Почему-то мошки особенно льнули к гостю. Искусали до огненного зуда.

— Неприятное угощение, ха-ха...

— Чего приятного!

— Нынче ее, проклятой, меньше. Холодно.

А кругом розовел цветущий шиповник. Снежные чайки мелькали над водой. Кто-то из мастеров играл на гармошке, кто-то пробовал плясать. Сидевший под ивой Котягин говорил соседям-гостям:

— Вы, может быть, думаете, что иконописцы верили в святых и угодников, которых писали? Вот уж нет! Как раз наоборот. Самые-то отъявленные безбожники из нашего брата и выходили...

И рассказал:

— Работали двое мстерцев в церкви на Рогожском кладбище. Захотелось им выпить. Вино есть, да из горлышка пить плохо, а налить не во что — стаканчика нет. Подходят приятели к иконе Иоанна-предтечи: «Иван Захарыч, нет ли стопочки?» Стопочка нашлась: пред иконой висела лампадка. Приятели берут лампадный стаканчик, наливают в него водки, выпивают. Выпив, ставят стаканчик на место: «Спасибо, Иван Захарыч, за посуду!»

А густой бас Григория Тимофеевича Дмитриева уже заводил «Коробушку». Гурьянов, Николай Култышев и другие, обступив запевалу, подхватили:

Есть и ситец и парча-а...

Далеко разносились по Клязьме голоса.

Солнце зашло. Вспенивая колесами розовую от закатных огней воду, шел снизу, из Горького, блистающий белизной пароход. Мастера подбросили в костер валежника. Пламя взвилось к небу стаей жар-птицы. Облитые алым светом, мастера махали пароходу руками, платками, фуражками. И «Шторм» ответил на приветствие могучим трехголосым ревом, который прокатился по спокойной реке и замер в мглистых лугах. На палубе парохода человек в белом кителе тоже махал фуражкой.

В берег ударились волны...

В сумерках возвращались в Мстеру.

Шли луговой тропой, переходили плавучий мост, перекинутый через Затон — широкий рукав Клязьмы — недалеко от пристани. Справа, на западе, краснела дальняя, брягинская заря.

— Смотрите, какая красота! — сказал кто-то из гостей.— Вода словно шелковая, а берега бархатные...

Но еще лучше было на востоке, покрытом широкой синеватой тенью. Спокойная вода около самого моста светилась, как опаловая. А дальше лежали сумерки, тайна надвигающейся ночи. В сизой мгле мигали, отражаясь в воде, манящие и как будто грустные огоньки пристани и баканов.

Хороши были луга, вода, огоньки! Все это с детства окружало мастеров Мстеры. Все это с детских дней подготавливало их к пониманию прекрасного. Растило в них художников.

Пеплом сумерек покрывалась заря Брягина, спали в туманах цветы Овчинникова.

НОВАЯ КАРТИНА

Мы пришли к Василию Никифоровичу Овчинникову уговариваться насчет совместной поездки в Вязники на ярмарку.

Набережная тонула в розовой вечерней мгле. Далекая заря перекликалась с рекой, и река отвечала ей теплыми отсветами. Под горой, у мельницы, еще сидели рыболовы с удочками.

Василий Никифорович только что вернулся из бани. Он сидел за столом, вымытый, порозовевший, и пил чай со свежей земляникой. Его сухая, небольшая, почти женская рука держала блюдце. Мухи липли к мелко наколотому сахару. В открытое окно шла прохлада вечера.

Анна Тимофеевна только что вернулась из леса — со всеми детьми ходила за ягодами. Она любила лес. Называла себя «лесной бабушкой». Когда жила у отца, приносила домой зайчат, диких утят. Пробовала приручать. Но утята хирели, а зайцы убегали в окошко.

— Покушайте землянички: сладкая...

И Анна Тимофеевна поставила на стол тарелку с темно-красными душистыми ягодами.

— Так, значит, завтра едем в Вязники?— спросил прояснивший лицом Василий Никифорович, потянувшись к ягодам.— Прокатимся по Клязьме на пароходе... Я утром забегу за вами...

Недаром выбрали художники Василия Никифоровича в охрану труда. Не зря вовлечен он в другие общественные дела. В характере его заложена неутомимая потребность двигаться, прикасаться к жизни вплотную. О Василии Никифоровиче говорят: «Все бы он шел да ехал».

Он — член поселкового совета, народный заседатель. Он нанимает пастухов, заботится о приезжающих в артель гостях и при этом успевает перевыполнять план в артели как художник.

Многообразны обязанности, добровольно принятые им на себя. Они заставляют его, непривычного к канцелярскому слогу, потеть в поисках слов над составлением какой-нибудь бумажки, негодовать на артельных собраниях по поводу замеченных непорядков, говорить людям резкости. Подгоняемый

общественными и личными заботами, Василий Никифорович мечется по улицам Мстеры, бежит на почту, в поселковый совет, в больницу, в Вязники за двадцать километров. Он легко и щедро отдает себя жизни в живописи и в тех общественных хлопотах, которые помогают ему чувствовать себя нужным артели, Мстере, а значит, и стране.

— Сегодня назначили меня в секцию по благоустройству,— сказал Василий Никифорович, наливая себе чаю.— Придется, видно, поработать, хоть и некогда: картину надо писать. Брягин вон уже начал.

— Начинай и ты,— посоветовала Анна Тимофеевна.— Для людей делаешь, а свое дело стоит. И так меньше других заработал за прошлый год. Ведь не заплатят тебе в совете?

— Понятно, не заплатят,— ответил Василий Никифорович,— общественную работу мы должны помимо нести. Да ведь найдется время и для нее. Дело нужное!..

Анна Тимофеевна не спорила. Взяв дойник, она начала процеживать парное молоко. Василий Никифорович, наблюдая за спокойными движениями жены, говорил:

— Намедни с коровой беда какая стряслась: чуть-чуть не удавилась.

Поставил блюдце с чаем на стол и рассказал о случае с коровой. Когда утром вышли выгонять корову в стадо, то увидали, что она застряла головой в узком окошечке хлева. Глаза закатились. Корова хрипела. Что делать? Пробовали вытащить голову за рога. Ничего не вышло. Пришлось пропиливать окошко.

— Такая непутевая скотина,— закончил Василий Никифорович,— все время с ней истории. А доится хорошо и молоко густое.

Мы пошли домой, а Василий Никифорович полез спать на «сушило» — на деревянный настил под крышей двора, где лежали запасы сена. Может быть, лежа на сушиле, он думал о своей будущей композиции «Праздник урожая». И, наверно, мысли о картине переплетались у него с мыслями о корове, покосе, землянике. О близком и повседневном. Виделась ему зеленая, напоенная речной сыростью Набережная улица с черной дорогой, с мягкой листвой, с сильными и обильными росами на сочной траве. Ранними утрами, когда Мстерка так тиха и туманна, словно в ней затаились сны ночи, идет по улице пастух и трубит в медный горн. По вечерам все село собирается на Набережной встречать переходящее через розовую реку стадо. По брюхо в воде идут коровы, а у телят только головы видны. В обход, по мосту, бегут овцы и козы. Тогда улица полна мычанья, блеянья, пыли.

Представлялся Василию Никифоровичу его сад, стол под яблоней, на котором в жаркие дни семья пьет чай, скамья с подгнившими ножками, осыпанная семенами одуванчика и теми крохотными живыми существами, что в траве или на листве совершенно незаметны взгляду.

И садовая сирень, и беспутная корова, и кролики на дворе, просовывающие сквозь проволоку клеток свои мягкие мордочки, и заречные луга с цветами — все, верно, сливалось в думах Василия Никифоровича в его «Праздник урожая», в праздник ярких и радостных красок.

Картина была как бы рассыпана на кусочки по саду, по двору, по улице, в пойме. И Василий Никифорович мысленно собирал эти кусочки в одно целое.

УДАКИ

Удаками в Мстере зовут охотников ловить рыбу на удочку. Василий Никифорович Овчинников не удак, хотя и вырос у воды. Непоседливый и беспокойный, он не понимает, как можно часами смотреть на поплавок. Ловит только сетью.

Должно быть, удаком, как и поэтом, нужно родиться. До сих пор в Мстере помнят Федю Чорта — удака, который всю жизнь провел возле воды и умер семидесяти с лишком лет от роду. Кличку свою Федя носил недаром. Был он при высоком росте непомерно широк, косматая. Клязьма имела над ним неодолимую власть. Как только наступала весна, Федя нанимался в баканщики и жил на реке до морозов. Любимым его занятием было уженье. Любимой позой — лежачая.

Ленив он был на редкость. Когда к лежавшему врастяжку на берегу Феде подходил человек, старик говорил густым басом:

— Вот хорошо, что ты пришел. Дай-ка напиться.

— Чудак! У воды лежишь, а пить просишь,— дивился пришедший.

— Экой ты гораздый языком-то звонить! — сердился Федя Чорт.— Лень, что ли, тебе воды подать?

Однажды Федя, похлебав ухи, лежал у костра. Огонь припекал, а отодвинуться не хотелось. Одежда на Феде задымилась. «Как бы не сгореть»,— забеспокоился он и продолжал лежать. Запахло гарью. Что-то ужалило правый бок.

— Мать честная, горю!

Федя вскочил и в тлеющей одежде бросился в реку.

Воду он ощущал родной стихией.

От воды и грязи у Феди растрескалась кожа на руках. Он и лечился на свой лад: привязывал к рукам живых лягушек:

— Больно хорошо холодят...

Молва сделала Федю Чорта чем-то вроде клязьменского водяного. Теперь не стало таких удаков. Но почти каждый из мстерцев носит в себе зародыши страсти, какая жила в Феде.

Есть в Мстере удаки, для которых уженье — промысел. Есть поэты уженья. Такие идут на реку не столько за рыбой, сколько ради связанных с уженьем переживаний:

— Рыбка боится, аккуратничает, а ты ее перехитрить стараешься...

Идут и для того, чтобы встретить костром ночь, пить пропахший дымом настой дикой смородины, прислушиваться к плеску щук и журчанью лягушек. Если к этим маленьким радостям прибавляется хороший улов, удак чувствует себя совсем счастливым. А не поймав ничего, возвращается домой задворками, окольными тропинками, чтобы избежать насмешливых улыбок и традиционного вопроса:

— А рыба где?

Когда удаки сойдутся вместе, каких только не расскажут они историй! О женщине, которая, переезжая на лодке Клязьму, изловила сома в три пуда весом,— был тот сом оглушен винтом парохода. О пойманных и непойманных щуках.

Живописец Николай Николаевич Клыков, сын прославленного мастера, заикаясь и жестикулируя, с напряженным лицом, расскажет, как недавно он вытащил в лопушиннике на Клязьме щуку в десять фунтов.

А грунтовщик Яков Федорович Рачков, черными от сажи руками поглаживая редкую, монгольскую свою бороду, скромно скажет:

— Я в позапрошлое лето семь подлещиков выудил. А нынче все дожди, холодно — не берет рыба.

Есть у каждого удака свои любимые места. Одни идут на узкую тихую Тару, что синим пояском упала в луга, в ольшаники. Другие — на Клязьму, на Старицу. Хорошо, не торопясь, шагать лугами навстречу душистому ветерку! На высоких стеблях, пересвистываясь, качаются крохотные серые птички с желтыми грудками. Трели жаворонков стоят в нагретом воздухе. Жужжат пчелы.

Может быть, в такие минуты всего чаще и приходят к художникам мотивы и образы новых картин. И, может быть, краски росписей на шкатулках есть, в сущности, краски вот этих цветущих лугов, заводин, кустарников.

Хорошо в пойме и вечером, когда чайник фыркает на костре, заливая красные угли. Чуть виднеются поплавки на потемневшей воде. Как оглушительно плещутся в этот час щуки! И как похожа вода Клязьмы на ту, какую пишет на своих миниатюрах старейший художник Мстеры, прекраснейший мастер Николай Прокофьевич Клыков!

СТАРЫЙ МАСТЕР

Николай Прокофьевич Клыков по старости не ходит в артель, работает на дому.

В конце Мстеры, там, где она смыкается с колхозным селом Татаровым-Барским, много зелени. Раскинулись на задворках вишнево-яблоновые сады и широкие огороды. В палисадниках топырятся кусты сирени и черемухи. Среди густой, темной листвы присел низкий кирпичный дом с четырьмя окнами по фасаду,— один из тех домов, куда не смеет войти летний зной.

Отпечаток женской домовитости и вкуса лежит на всем, что находится в доме.

Следы женской заботы увидали мы и на внешности самого Николая Прокофьевича, встретившего нас в прихожей: такой он был прибранный, розовый, в черной тужурке и новой ластиковой рубашке, тоже черной. Чувствовалось, что ласковые руки холят и берегут его. Легкие волосы пухом одуванчика белели над высоким лбом. Старческие голубые глаза с какими-то наростами на веках светились приветом. Эти глаза еще настолько зорки, что работы старого мастера поражают ювелирной отделкой мельчайших подробностей. Странные вещи творятся с глазами Николая Прокофьевича. Зрение начало изменять ему с юности. Первые очки надел восемнадцати лет. И — рассказывают во Мстере — под старость Николай Прокофьевич совсем было стал слепнуть, да пришлось работать мелочь — и старик «выгляделся», окреп глазами.

Торжественный, по-старинному истовый, Николай Прокофьевич, стоя в прихожей, величал всех по имени-отчеству и приглашал дорогих гостей проходить вперед.

На подоконниках стояли плошки с геранью и дымился зеленым облачком тот мелкохвойный цветок, который называют «мечтой». Везде белели вышитые занавески, салфетки, дорожки.

Две дочери Николая Прокофьевича слывут лучшими по Мстере рукодельницами. Старшую, Анну Николаевну, мы застали за работой. Уже немолодая, с серыми глазами, в темном строгом платье, она вышивала, склонив над пяльцами гладко

причесанную голову. Ее сестра, такая же сероглазая, но в белом платье, с пышными короткими волосами, расставляла на столе домашние печенья, вазочки с вареньем.

На стенах висели два ковра, образчики первых мстерских работ. Красавица с известково-голубым лицом и венком на распущенных волосах мечтательно глядела вдаль. Подпись гласила: «Весной». На другом ковре был нарисован светлый пруд в желтых кувшинках, лодка с людьми.

— Вы длинную жизнь прожили, Николай Прокофьевич. Расскажите что-нибудь.

— Да ведь жизнь иконописца — известная. Больше находились в Москве. Летом приедешь домой недели на две — и опять назад. Плохо прошло время.

Разговаривая, Николай Прокофьевич делал какой-то совершенно иконописный жест: складывал руки у самого лица, у белой подстриженной бородки, в пригоршню и затем разводил их в стороны. Впрочем, больше ничего иконного в нем не было.

— Есть у меня биография моей жизни. Года два тому назад гостил у нас в Мстере профессор один, московский, ученый человек, просил он меня составить жизнеописание, вот я и приготовил.

Николай Прокофьевич сходил в соседнюю комнату и вернулся с бумажкой. Была она кругом мелко исписана карандашом. Мы прочли:

«Биография жизни Н. П. К.

Родился в селе Мстере 1861 года, воспитывался при отце, грамоте учился в сельской школе. После учения грамоте начал учиться иконописи у своего отца дома. Отец мой — пролетариат, работал на разные мастерские иконописи...»

Дальше шло перечисление хозяев-иконников, у которых, сделавшись мастером, работал Николай Прокофьевич в Москве и Мстере. Был преподавателем иконописи в Строгановском училище и Троице-Сергиевской лавре. Реставратором в музеях.

«...Потом иконопись аннулировалась. Я был приглашен в живописную артель, записался в члены. И дали мне несколько коробочек для росписи. Я расписал, артели понравилось, и я начал расписывать. С того времени и до сих пор работаю на артель.

Вот моя вся биография. Что мы упомнили, все описали».

Да, только под старость узнал Николай Прокофьевич радость свободного творчества. Он работает жадно и много,

словно торопясь полнее, ярче, сильнее выразить себя в краске и линии, словно желая вознаградить себя за годы подневольной работы на хозяев, сковывавшей в нем художника.

Труд стал для него такой же потребностью, как дыхание.

— Не могу сидеть без дела: тоска берет. Вот только мастерская плоха.

«Мастерская» до недавнего времени помещалась между русской печкой и перегородкой. Теперь художник работает в бане. Позади дома стоит потемневшая избушка. В нее и перенес свои кисточки Николай Прокофьевич. Через забор тянутся отягченные созревающими плодами сады соседей. На участке Клыкова мало деревьев: не взрастил Николай Прокофьевич сада, некогда было ему, московскому жителю, пестовать яблони и вишни.

— Плохо, плохо прошло мое время...

Но время его еще не прошло. Мастер в свои семьдесят пять лет еще бодр, свеж и прекрасен красотой здоровой, деятельной старости. Он кажется нам живым олицетворением человеческой воли и энергии. Вот только помех у него много, ходьбы, тревоги. Сколько раз пришлось ходить в артель за плотниками, чтобы баню поправили. И сейчас приходится ходить.

Мы рассматривали последнюю работу Клыкова. На черной пластинке были написаны деревья, лужайка, пастухи с падогами около стада, рыбаки с сетью у синего озера.

Самый старый художник Мстеры первый начал работать приемами реализма. Он даже натюрморты писал на своих коробочках. Его излюбленные сиренево-лиловатые и сизые тона прозрачны и спокойны. В них много настроения. Они хорошо подходят к нашим русским туманам, передают затаенную красоту северной природы. Что-то легкое и воздушное чувствуется в клыковских красках, в его прямых, возносящихся кверху деревьях.

Он — поэт северной земли с ее неяркой весной и коротким летом. Когда он рисует «Дом отдыха», то и здесь показывает не юг, как Брягин или Овчинников, а север. Ясность и законченность присущи работам старого мастера. Есть в них своеобразная прелесть примитива. Маленькие человечки закидывают в озеро невод, мечут золотистые стога, бросают в борозды семя. И кажется, что линии рисунка начерчены детской рукой, а краски положены опытным и прекрасным художником.

Специалисты искусствоведы говорят, что лиловатые, серебристо-голубые и зеленые тона Клыкова идут от новгородского иконного стиля. Семидесятипятилетний человек, только в старости узнавший о том, что он — художник, теперь цвел

творчеством, как майская сирень — своими серо-лиловыми гроздьями.

— Да, вот пишу... Учеников обучаю: ходят ко мне четыре паренька...

Николай Прокофьевич стоял около бани, освещенный нежгучими лучами низкого солнца, и сам светился белыми волосами, мутноголубыми глазами, улыбкой, как светится погожий весенний закат.

Чтобы перенять огонь догорающей свечи, от нее зажигают новые свечи. В манере Клыкова пишут и другие мастера артели. Его миниатюры копируют ученики. Творческий опыт старого художника становится достоянием молодых. Но он и сам еще полон жажды без конца растворяться в своих прозрачных тонах.

ХУДОЖНИК-УЧИТЕЛЬ

В июне приехала в Мстеру пионерская экскурсия.

В синих майках и кофточках с земляничными галстуками, мальчики и девочки шагали смуглыми босыми ногами по мягкой Нижней улице. Тарахтел барабан, и звонко вскрикивала труба.

Купались в слепящей Мстерке. Играли на лугу.

Гости осмотрели Мстеру, музей, артель художников.

Видели, как простой картон превращается в лакированную коробочку с красивой разноцветной росписью на крышке или в разрисованный чернильный прибор. И в артельной «Книге предложений» старательно вывели:

«Пионерское спасибо от пионеров Сарыевского лагеря».

Председатель, водивший экскурсию по цехам артели, показал ребятам и работу Ивана Алексеевича Серебрякова «Пионерский лагерь»:

— Из вашей жизни взято...

Ивану Алексеевичу под пятьдесят,— он один из ведущих мастеров артели,— но тема молодости оказалась близкой ему. Может быть, она привлекла Серебрякова потому, что он чаще других прикасается к весенним силам молодости: Иван Алексеевич преподает рисование в артельной художественной школе.

У него темные глаза, длинные волосы артиста. Чувствуется в нем большая культурность и богатый жизненный опыт.

Работал иконописцем в Палехе. Поступил учиться в Строгановское, но по станковой живописи не пошел, а вернулся к иконописи. Жил в Москве, на Кавказе. Три года пробыл в германском плену. Умение рисовать пригодилось и там. Иван Алексеевич рисовал товарищей по лагерю, немцев и уцелел, не сгинул на чужбине, как сгинули многие. Приехав в Россию, воевал против Деникина. Болел тифом. За хлеб увеличивал по деревням фотографии, писал портреты деревенских красавиц. Во времена мстерского Рабиса председательствовал в столярно-вышивально-художественном объединении.

В своих последних работах Серебряков отходит от иконы гораздо дальше, чем другие мастера.

Мстерская миниатюра под его кистью приобретает совсем явственные черты станковой живописи. Такова композиция «Пионерский лагерь» и другая выставочная работа Серебрякова — «На оборону страны»: всадник на скале — маршал Ворошилов, а внизу, у скалы, группа красноармейцев.

Ивана Алексеевича тоже тянет к себе тихая ольховая Тара. Превосходно отдыхается за удочками. Перед глазами — пробки поплавков, струйки, луга с гусями, с чайками. За спиной шумит листвой и хвоей, щебечет птицами, пахнет смолою подступивший к реке лес. В один из дней этого лета на плечо удившего Ивана Алексеевича прыгнула рыжая пышнохвостая белка; тонко взвизгнула и тенью метнулась в сторону.

Должно быть, звери чувствуют к нему такое же доверие, как и дети, которых он учит рисовать.

В артельной художественной школе, где преподает Серебряков, учатся дети мастеров и колхозная молодежь — своя, мстерская, и пришлая. Есть девушки.

Мы смотрели работы учащихся: рисунки с натуры, акварельные копии миниатюр, собственные композиции. Художник Василий Григорьевич Голубев оценивающе глядел сквозь пенсне, говорил:

— Жестко написано... Замучено... Грязь,— какие-то словно гуашные краски... А это хорошо, совсем хорошо. Богато, декоративно...

— А то вот, посмотрите,— подал заведующий учебной частью Виктор Сергеевич Кондратьев несколько рисунков.— Тоже даровитый ученик, но пришлось исключить из школы.

— За что же?

— В краже попался.

И Виктор Сергеевич, вскинув водянисто-голубые глаза, рассказал, что автор талантливых рисунков, бывший беспризорник, так полюбил рисовать, что не мог равнодушно видеть бумагу, карандаши и краски. Каждый чистый листок хотелось ему покрыть линиями рисунка и раскрасить. Пред концом учебного года он все мечтал о том, как будет рисовать летом с натуры. Запасал бумагу, копил карандаши. Увлекшись «запасанием», украл у товарища коробку с красками. Чтобы у вора не появились подражатели, его уволили.

— Жаль, конечно. Способный парень. Да и страшно за него: не сбился бы с пути. Все просится обратно, обещает вперед быть честным. Думаем принять снова...

ЗАРОЖДЕНИЕ СТИЛЯ

Григорий Тимофеевич Дмитриев делал последние мазки на миниатюре «Детский сад». Дети, рассыпавшиеся по зеленой лужайке, мало походили на того младенца в золотом венце, которого писали на иконах. Иконописец Дмитриев шел от «Подлинников». Миниатюрист Дмитриев — от живых впечатлений. Мстерские межартельные ясли и детплощадка стоят на первом месте среди детских учреждений Ивановской промстрахкассы. Дмитриев писал то, что видел, взяв от иконописи мастерство.

Как почти все мстерские мастера, Дмитриев был иконописцем-доличником, то есть писал только платье святого и пейзаж. В пейзаже Григорий Тимофеевич и тогда был искусником. Сохранилась написанная им икона «Алексей-человек божий в пустыне». По оценке специалистов, «Пустыня» — виртуозный, утонченный, полуфантастический пейзаж, проникнутый глубоким лирическим чувством природы».

Может быть, когда-нибудь вопрос о связи дмитриевской иконы с современной мстерской миниатюрой будет предметом особого изучения. Но об этом вряд ли думает скромный Григорий Тимофеевич. Сдвинув на лоб большие очки в роговой оправе, он творит золото для орнамента, растирая листочки золота пальцем в чайном блюдце.

— Григорий Тимофеевич, как вы это делаете?

— Очень просто. Беру часть гумми-арабика и часть воды, смешиваю с листовым золотом и потом растираю до тонкости хорошо тертой краски.

Дмитриев творит золото на всю артель. Золота для мстерской миниатюры идет немного: только на орнамент.

Не золото превращает мстерскую коробочку в драгоценность, а наложенные мастером краски с их переливами и блеском.

ЗИМА НА МИНИАТЮРЕ

На миниатюрах редко пишут зимний пейзаж. Художники привыкли брать свои краски у весны, лета и осени: у зеленого луга, голубой воды, кудрявой рощи.

Василий Петрович Соколов написал овальную миниатюру «Лоси зимой».

В золотом ободке орнамента голубели снега, темнела опушка леса. На переднем плане был нарисован рыжий, с белой верхушкой стог и возле него вышедшие на кормежку лоси.

А за окнами мастерской полыхал летний полдень. Ворот вышитой рубашки Василия Петровича был расстегнут. На лице блестели росинки пота.

В миниатюре было мало особенностей мстерского стиля. Может быть, потому, что Соколов пришел в артель из Палеха.

Как и Серебряков, он учился в Строгановском. Это не помешало ему вернуться в тот мир, в котором он вырос, и стать миниатюристом.

В работах Соколова чувствуется знание приемов станковой живописи и желание найти в искусстве современной Мстеры свою трошинку.

«ЦЫГАНЫ» НИКОЛАЯ КУЛТЫШЕВА

Молодой мастер Николай Михайлович Култышев, голубоглазый и рыжеватый, долго расписывал чернильные приборы, копируя чужие образцы. Но Култышеву хотелось писать свое.

Помогая Николаю Михайловичу скорей вырасти в самостоятельного живописца, ивановский союз художников дал ему месячный творческий отпуск. Николай Михайлович решил написать за это время самостоятельную вещь. Темой он выбрал памятные с детства строки Пушкина:

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.

В артели Култышев сказал:

— Придется заняться головоломочкой.

Он сосредоточенно обдумывал композицию миниатюры. Старался связать, объединить образы стихотворения в рисунке эскиза. Когда эскиз был готов, взялся за кисточку. Писал «Цыган» не торопясь. Переделывал то одно, то другое. Изобразил шатры, стройную Земфиру в длинном струящемся платье, цыган на зеленой поляне возле реки, традиционных иконных горок и орнаментальных деревьев. Но вещь все еще была далека от того, что носилось пред глазами.

— Тут надо дать перспективу дальки,— говорил нам Николай Михайлович, указывая кисточкой на недоделанные места.— А вот здесь придется вызвать цвет платья цыганки, чтобы оно заиграло.

Он обмакнул кисточку сначала в одну, потом в другую краску. Попробовал на лежавшей пред ним линейке, какой получится тон, и начал «вызывать» платье Земфиры.

— Вот все время так: тут успокаиваешь, здесь вызываешь еще крепче...

Култышев мог писать своих цыган с натуры. Как раз в эти дни появился около Мстеры кочевавший последнее свое лето цыганский табор.

Пестрые, как бабочки, цыганки ходили по улицам и предлагали погадать. Из-за съехавших на шею разноцветных платков и шалей выбивались блестящие, вывалянные в пуху волосы. Вокруг бедер живописно колыхались широчайшие, многосборчатые платья, с оборками, с крупными и яркими цветами текстильного рисунка. Завернув подолы верхних юбок, цыганки клали в них пироги, куски сахара, тряпки. Несмотря на груз подаяния, они шли попрежнему легкие и стройные. Из-под ситцевых пропыленных, взлетающих подолов виднелись желтые, туго зашнурованные гамаши с высокими каблуками.

— Что вы не работаете?— укоризненно спрашивал цыганок кто-нибудь из проходящих.

— С осени и мы работать пойдем,— отвечала молодая высокая цыганка.— На фабрику поступим, ткачихами будем.

Любуясь из окна мастерской цыганками, Александр Иванович Брягин сказал:

— Платья на них очень уж красиво колышутся, так и просятся на картину.

Сравнивал свою Земфиру с живыми цыганками и Култышев. И снова изменял, переделывал написанное.

По виду Култышеву лет тридцать. Учился иконописи, но сделаться иконописцем не успел: пришла революция. Она сделала Култышева сначала квалифицированным ткачом на одной из ковровских фабрик, потом — миниатюристом в артели.

Николай Култышев — ученик Брягина, член брягинской бригады. «Цыганы» были его экзаменом на творческую зрелость. Этот экзамен Култышев выдержал.

Позднее Култышев написал композицию «Борьба за Царицын», «Буденновцы идут в атаку» и другие миниатюры.

В фигурах летящих в бой буденновцев можно почувствовать не только природную даровитость, но и боевой темперамент Култышева. Вместе со своим другом Гурьяновым он смело отстаивает на артельных собраниях право молодых художников на самостоятельное творчество и на внимание к себе.

ЦВЕТОЧНАЯ КОННИЦА

Иван Николаевич Морозов, мастер в годах, с колючим серебром, проступившим на подбородке и возле щек, тоже написал миниатюру «Цыгане у костра».

Цыгане сидели и лежали возле огня, а по изумрудному лугу паслись их кони. Одни из коней были написаны ярко-малиновыми, другие — густоголубыми.

Таких же разноцветных коней написал Иван Николаевич и в своей иллюстрации к пушкинской повести «Дубровский». Синие и розовые лошади, запряженные в свадебную карету, стояли среди зеленого леса. Их держали под уздцы разбойники Дубровского. Кони казались цветами необыкновенной формы.

Нам вспомнились кони палехского Ивана Голикова, тоже алые, синие, лиловые. Мы спросили Ивана Николаевича, почему он видит лошадей малиновыми? Разве существует в природе такая лошадиная масть?

Мастер ответил:

— В природе не существует, а на иконах существовала.

— На каких же?

— Была икона под названием «Огненное восхождение Ильи-пророка». Там тройка красных рысаков мчит Илью по тучам на небо. Опять же на иконе Фролы полагалось писать целый табун разномастных коней. А мы от иконы берем многое...

Объяснение Ивана Николаевича мы выслушали с интересом. Но незабудковые, васильковые, гвоздичные кони и сами говорили в свою защиту. Так были они декоративны, празднично ярки, что в них верилось; они были здесь на месте.

В первые годы революции Морозов был бурлаком на Клязьме, но мастерства не утратил. Вместе с другими живописцами Мстеры он ищет нового как в стиле, так и в темах. Кроме иллюстраций к Пушкину, он пишет и такие композиции, как «Социалистическое строительство». Над кудрявыми горками высятся фабричные трубы города. Красный обоз едет по новой дороге. Красные и голубые кони везут в город хлеб. А от города движется в поля другой красный конь — трактор.

ЯРМАРКА

Поспевали в лугах травы, все новые выходили из земли цветы, на яблонях появились маленькие зеленые плоды. И уже вынесли ребятишки на базар стаканы и чашки с жесткой краснобокой земляникой.

Шестого июля, в Международный праздник кооперации, на площади пред артелью художников зашумел митинг. С убранной кумачом и еловым лапником трибуны говорились речи. Духовой оркестр клееночной фабрики гремел «Интернационалом». Нерешительно моросил холодный дождик, то переставая, то опять припускаясь. Но на площади было людно, и становилось все люднее. Шли с гармониками, с частушками парни и девицы из деревень. А потом зашумела, засвистела в свистульки ярмарка, раскинув среди оглобельного леса, в наскоро сколоченных ларях, полотняные платья с вышивкой, пояса с кистями, шелковые ленты, дорожки из клеенки, обливные пряники. Мастера с женами чинно ходили по ярмарке. Были тут и Брягины.

Александр Иванович смотрел из-под козырька белой фуражки на толпу около ларей, на девиц в вышитых платьях, на парней с гармошками,— на все это бурлившее и бившее переливами цветов людское половодье.

Он говорил Анне Никифоровне:

— Красиво!

Праздник был для него, художника, и праздником красок.

Нес на руках маленькую дочку молодой художник Андрюша Кисляков, сероглазый, с шапкой вздыбленных черных волос, в черной ластиковой рубашке, подпоясанной узким ремешком.

Сын мстерского чеканщика, Андрей Михайлович Кисляков жил в Москве, посещал Вхутемас. Позднее был живописцем мстерской художественной артели. Смело ломая иконописные традиции, рисовал на папье-маше людей в пиджаках и сапогах бутылками. Такое наивно-упрощенное решение вопроса о новом стиле не могло удовлетворить и самого Кислякова. Он отошел от артели. Писал декорации в Вязниках. На лето приехал в Мстеру к жене и дочери.

Шагал от ларька с игрушками человек в серой толстовке — Венедикт Дмитриевич Бороздин. Он много лет работал в одной из московских хромолитографий, приехал на родину инвалидом и, глядя на других, поступил в артель. Дело пошло,— Бороздин стал миниатюристом и кисточкой добывал пропитание своей большой семье.

— Чего купили, Венедикт Дмитриевич?

— А вот видите: пистолет, свистулька, кукла. Решил ребятишек порадовать, пусть и они будут с праздником...

Встретили мы в толпе и Николая Прокофьевича Клыкова. И он сегодня вышел на-люди, такой розовый, бодрый, будто в нем жила сила тех сказочных богатырей, которых так любят рисовать народные художники на своих коробочках. Остановился, медлительный, по-старчески степенный, в суконном картузе и длинном драповом пальто с бархатным воротником,— такие пальто носили лет сорок назад. И степенно вел разговор Николай Прокофьевич:

— Ярманка-то хороша, да вот погодка маленько подпортила.

Картинными, какими-то торжественными жестами он напоминал человечков на одной из первых своих миниатюр. Иконописно-благообразные человечки указывали руками вверх, на большую хвостатую комету, а внизу, под картинкой, старинным полууставом было подписано:

Комета

Где звезды видим мы, сияет и она,
Как солнце в красный день, как в темну ночь луна.

И Николай Прокофьевич, разговаривая с нами, тоже поднимал кверху мутноголубые глаза, но сейчас на небе, затянутом тучами, не было видно никаких светил.

Под намокшим от дождя навесом парусиновой палатки, среди пахучих брусков мыла и пестрых тюбиков чая, стоял старый работник художественной артели Евгений Васильевич Юрин, живописец и член лавочной комиссии сельсовета. Худощавый, загорелый, в вышитой косоворотке, он выглядел сейчас некрасовским коробейником, удалым чарователем девичьих сердец. Но мы знали, что Евгений Васильевич — человек семейный и больше думает о кооперативной торговле, чем о девичьих улыбках.

— Вам чего?— учтиво наклонялся он к покупателю.— Конфет? Каких прикажете?

И помогал продавцу отпускать товар.

К вечеру небо прояснилось. Но ярмарка уже поредела.

В общественном саду зазвучали трубы музыкантов с «клеенки». Там танцовали пары и поштучно продавались с лотка твердые белые пряники.

Мстеру окружают тихие луга, пахучие леса с фиалками и земляникой в траве. Но мстерцы предпочитают лугам и лесным опушкам свой общественный садик с единственной аллеей и коротко подстриженными деревьями. В начале и конце аллеи блестят на узорчатых подставках большие зеркальные шары. Подставки и шары добросовестно выполняют свое декоративное назначение. В шарах отражаются огоньки папирос, луна, фигуры гуляющих. Общественный сад для мстерцев не просто два ряда деревьев без вершин: он — символ городской культуры. Прогуливаясь по аллее, мстерцы создают в своем воображении из этих подстриженных деревьев, из зеркальных шаров поэтический образ новой Мстеры, непохожей на прежнюю, захолустную.

В июльские вечера луна тепла и золотиста. Ее скользящий, колеблющийся свет словно ищет чего-то. Черные короткие тени лежат на земле.

Луна смотрит на отдыхающую Мстеру. Ей видны все сразу: и гуляющий в общественном саду Андрюша Кисляков, и сидящий под окнами Александр Иванович Брягин, и несущий корове мешок с накошенной травой Василий Никифорович Овчинников.

Дом Василия Никифоровича глядит своими четырьмя окнами в слабо освещенный простор поймы. Там в тумане мигает далекий рыбацкий костер. А черный узор деревьев режется на прозрачной синеве неба орнаментом лаковой коробочки.

В этот вечер дома нас ждала записка. На лоскутке линованной бумаги фиолетовыми чернилами было набросано:

«Дорогой т. Семеновский, убедительно прошу Вас не отказать мне в просьбе притти ко мне. Я весьма рад и счастлив буду в лице Вас, как пролетарского поэта, найти себе лучшего друга и собрата по перу, так как я по профессии художник миниатюры и, кстати, начинающий поэт. И поэтому горю желанием отдать Вам на суд мои литпроизведения. Между прочим, поиграю Вам на гармошке.

Лично сам притти не могу, так как я — инвалид, не имею обеих ног. Надеюсь, что наше знакомство принесет Вам пользу, а равно и мне.

Мой адрес: Комсомольская гора (бывш. Оганькина), Антоновский Федор Васильевич.

Предпоследняя гора, если итти по Нижней улице по направлению к Кусуновой мельнице».

ГАРМОНЬ

Комната похожа на расписную коробочку. Кисть живописца любовно разрисовала стены и даже низкий посудный шкафчик.

Живописец, он же хозяин комнаты, Федор Васильевич Антоновский сидит за столом возле раскрытого окна, и ветер шевелит на его голове тронутые сединой, слегка вьющиеся сероватые волосы. И рубашка на нем серая, в клеточку. Пышный нимб волос, большой рот с тонкими губами, пористые бритые щеки придают наружности Федора Васильевича что-то артистическое. Да он и чувствует себя артистом: художником, поэтом, композитором.

— Хотите, я сыграю на гармошке?—предлагает он.— Я музыку сочиняю сам на слух и на свой текст,—вальсы и марши...

Голос у Федора Васильевича резкий, металлический, а говорит он быстро, иные слова проглатывая, а другие как-то выпевая. Его небольшие темнокарие глаза смотрят вопрошающе. Вот он уперся руками в края табуретки, привычно скользнул на пол и вдруг сделался низким, ниже стола. Мы видим, что ноги Федора Васильевича обрезаны наискось: одна — выше, другая — чуть пониже. Вынув из небольшого красного ящика гармонь-двухрядку, он с ловкостью обезьяны снова вскарабкался на свое хозяйское место. Он играет, читает стихи. Рассказывает о своем житье,—как сам топит печку, стряпает; недавно чуть не сжегся: закрывая трубу, сорвался на раскаленную плиту.

Положив гармонь на подоконник, Федор Васильевич берет со стола костяной гребень и проводит им по волосам. Достает из лакового портсигара папироску, закуривает. На портсигаре — картинка: вооруженный всадник едет по зеленой дороге среди деревьев и иконных горок.

— Это — красный партизан. Моя работа. Я ведь по профессии художник миниатюры, член артели. Только в мастерскую не могу ходить, работаю дома.

В окно видна тихая зеленая улица с яблоновыми садами на задворках, с облачным небом.

— Люблю природу и вообще красоту,— говорит Федор Васильевич.— Я, как бывший иконописец, конечно, жил и в Москве и по другим городам. Чего я не перевидал, не испытал! Жизнь у меня была ой какая!..

Жизнь его — сплошная война. Сколько ушибов, синяков, царапин получил он за свои сорок восемь лет! В детстве били его в иконописной мастерской.

— Как сейчас помню: не успел я войти в мастерскую, мастер меня — р-раз! — ременной плетью, чтобы я «место искал»...

Восемнадцати лет поступил работать к московскому иконнику Гурьянову. С хозяином не поладил. Имел Гурьянов звание «поставщика двора его императорского величества» и потому требовал от своих мастеров верноподданнических чувств, а пятый год выветрил остатки их из молодого Антоновского. Ходил он за красными флагами, был на баррикадах. Из мастерской его выгнали, с отметкой на паспорте: «На работу не принимать». Голодал, ночевал на кладбищах. Думал пробраться за границу. Арестовали, этапом пригнали на родину, в Мстеру. Во время революции был председателем сельсовета. Писал в газеты заметки, сочинял политические и сатирические стихи. Десять лет назад в больнице ему отрезали ноги. Жена не стала жить с калекой. Да и страшно было. За стишки хотели на селе убить Федора Васильевича. И однажды ночью в окно, разбрызгивая стекла, влетел с улицы кирпич.

— Немного не попал в голову. Да этим меня не запугать... Нет, не запугать!

Угрозы, побои, несчастья не отняли у Федора Васильевича жадного интереса к жизни, желания участвовать в ней, рядить ее в звуки, в краски, в рифмованные слова. Одиночество угнетает его, и он неудержимо тянется к людям. Он переписывается с певицей О. В. Ковалевой, которой подарил расписную пудреницу, гордится знакомством с москвичами. Он посылает девятилетнего сына Шурика ко всем приезжающим в Мстеру людям с записочками,—заманивает гостей к себе стихами, музыкой, вишнями, яблоками своего сада.

В этом саду, среди густых запахов лета, Федор Васильевич пишет автобиографическую повесть «Путь народного художника» и вместе с тем оберегает сад от мальчишек. С необыкновенным проворством ковыляя за ними на своих деревянных утюжках, он внушает, что воровать яблоки нехорошо, стыдно, к тому же они еще мелкие, не созрели.

И в расписной комнате веет земным плодородием. На столе в тарелке розовеет первая, еще твердая земляника.

Рядом с тарелкой стоит флакон с одеколоном, блестит металлическими частями желтый ящик радиоприемника. В углу

на этажерке лежат любимые книги, лежат тетради с черновиками повести.

Книгами, плодами сада, желтым ящиком, а главное, игрой на гармошке Федор Васильевич в осенние и зимние вечера приманивает к себе молодежь. В длинные вечера осени и зимы ребята и девушки устраивают в расписной комнате под гармошку Федора Васильевича танцы.

Гармошку он считает самым ценным своим имуществом и не расстается с ней, даже уезжая летом в дом отдыха.

В доме отдыха Федор Васильевич встретил и того человека, на котором его жизненная закалка подверглась новому испытанию. Это был плотный коротконогий парень с маленькими глазами на щекастом лице. Звали его тоже Федором.

С первых же дней знакомства тезка необыкновенно заинтересовался гармонью Федора Васильевича и его игрой. Он внимательно разглядывал инструмент и соображал, сколько могут за него дать:

— Пожалуй, сотни четыре стоит...

Прошло лето. Давно завяли ромашки, засохли васильки. Давно Федор Васильевич вернулся к себе в Мстеру. И вот в один из серых зимних дней к нему зашел нежданный гость,— тот самый Федя, с которым связались приятные воспоминания о золоте и ароматах лета, о милых девичьих глазах и благодарных улыбках.

— Приехал проведать знакомую, да решил заодно зайти и к тебе. Как у тебя насчет ночлега? Не стесню?

— Ночуй, живи, Федя. Я рад тебе, как другу.

Федор Васильевич накормил Федю обедом, угостил чаем, табаком, музыкой, стихами.

Федя глядел на бегающие по ладам пальцы Федора Васильевича, слушал игру и похваливал:

— Ловко! Отчетисто!

Легли спать. На столе скупо лила желтый свет привернутая лампочка,— ее Федор Васильевич нарочно оставил непогашенной.

Ночью он проснулся: будто что-то кольнуло его в сердце. Лампа не горела. Ему показалось, что в темноте по комнате кто-то ходит. Спросил:

— Федя, это ты?

Ответа не было.

Федор Васильевич забеспокоился. Он сказал:

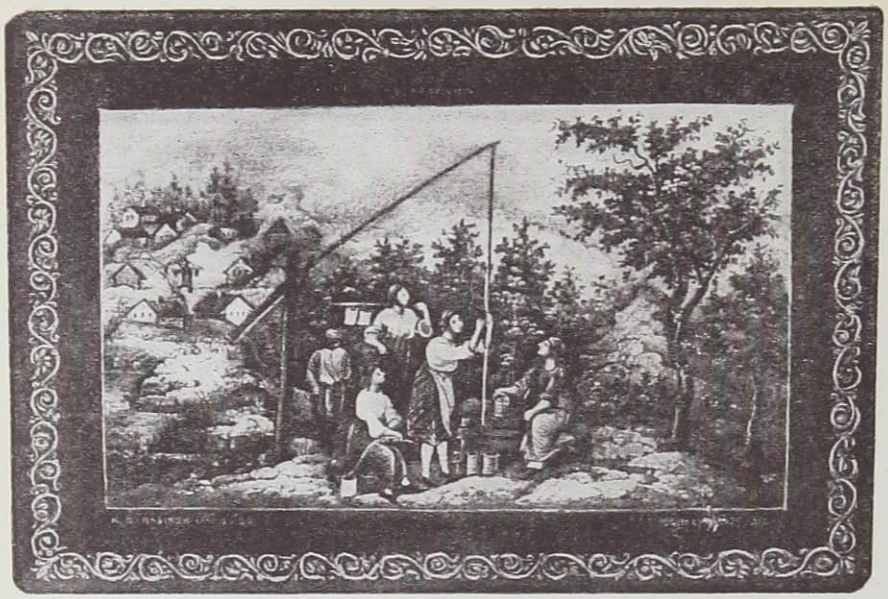
— Федя, зажги, пожалуйста, лампу.

Молчание.

— Федя, я прошу тебя зажечь лампу,— настойчиво повторил Федор Васильевич.

КЛЫКОВ Н. П.

Лесозаготовки



КЛЫКОВ И. П. — *У колодца*

КЛЫКОВ И. П. — *Охота на уток*

КЛЫКОВ Н. П.

Близко города Славянска

КЛЫКОВ Н. П. *По улице мостовой*

КЛЫКОВ Н. П. *У колодца*

КЛЫКОВ Н. П. *Охота на зайца*

КЛЫКОВ Н. П. *Капитанская дочка*

КЛЫКОВ Н. П. *Выход на работу*

МОРОЗОВ А. В. *Емельян Пугачев*

КЛЫКОВ Н. П.

Красноармейцы в лагерях

ДМИТРИЕВ Г. Т. *Бахчисарайский фонтан*

Гость молчал. Федор Васильевич бросился к своему красному ящику, открыл его, пощупал внутри,— ящик был пуст.

— Федя,— сказал Федор Васильевич в темноту,— пожалуйста, сейчас же положи гармонь на место. Я принял тебя, как гостя, а ты за мое добро хочешь отплатить мне злом.

Чавкнула дверь.

Ковыляя на своих утюжках, Федор Васильевич кинулся вслед уходившему с гармонью Феде, перевалился через порог, скатился с крыльца в снег, в ночь, в белесые потемки. Он очутился за воротами. На небе не было ни звездочки, и улица крепко спала в снежных пуховиках.

Федор Васильевич закричал:

— Караул!

Улица не проснулась...

Вскоре пронесся неизвестно откуда взявшийся слух о том, что гармонь Федора Васильевича видели в деревне, километрах в десяти от Мстеры.

Федор Васильевич нанял артельную подводу и поехал на розыски.

Был холодный день, с пышным инеем на деревьях и поседевшими воронами в поле. Как кружевные, белели встречные перелески. Артельный Воронко оброс белым пухом, у седока и кучера заиндевели ресницы и воротники.

В деревне разыскал уполномоченного сельсовета.

— Скажите, кто у вас в деревне играет на гармони?

Уполномоченный замялся:

— Да ведь кто-е знает... У Рябинкиных есть парень, заучиваться начал этому делу...

Подъехали к закутанной хворостом и соломой избушке. Еще из сеней Федор Васильевич услыхал раздававшиеся в избе знакомые резкие звуки гармоники и сказал:

— Она самая!

В избе, не глядя на гармонь, он назвал уполномоченному и хозяевам ее приметы: фамилию мастера на внутренних планках, цвет мехов, каждую царапину на крышках.

Растерянно стоял парень с гармонью в руках.

А старуха-мать запричитала:

— Пропали наши деньги! Ведь сто тридцать рублей заплатили за гармонь тому прохожему. Да почти новые валенки Васька отдал в придачу...

Закончив рассказ о гармони, Федор Васильевич прибавил:

— Не думал я, что разыщу свою пропажу. И страшно жалко мне ее было.

Он вздохнул и пояснил:

— С музыкой, знаете, жить легче.

Он держит свой инструмент как нечто драгоценное. Его пальцы скользят по пуговицам ладов — и из-под пальцев, как стружки из-под рубанка, сыплются кудрявые трели. И завитки орнамента на стенах как бы вторят завиткам звуков.

Шурик в белой ситцевой рубашке и коротких штанишках, не доходящих ему до загорелых коленок, сидит на изразцовой лежанке и подыгрывает отцу на свистульке. Свистулька Шурика — это пустой внутри металлический соловей. Пред концертом мальчик налил в него воды, и теперь соловей в смуглых маленьких руках Шурика заливается пронзительным журчаньем.

Сумерки сгущаются по углам. Вечер встает за окном — ясный, свежий, с расчистившимся над крышами небом и сухим звоном кузнечиков в траве.

— Вот теперь будете иметь представление о нашем оркестре,— говорит Федор Васильевич.

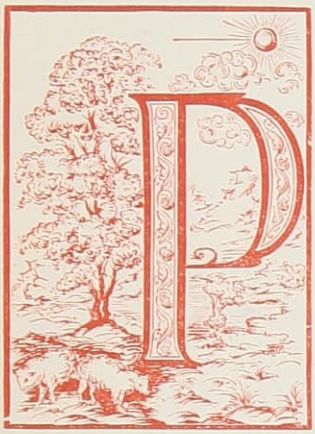
Он проводит гребнем по волосам и начинает играть новую свою композицию.

В полумраке лицо его светится важной думой.

Брызжут металлические завитки звуков. Вьются по стенам узоры орнамента, сливаясь с потемками...

Пробег кистью

СОКРОВИЩА ВЕКОВ



ОМЭН Роллан оставил в книге записей Третьяковской галлереи следующие строки.

«С восторгом осматривал залы с драгоценными произведениями древней русской живописи. Шедевр Рублева произвел впечатление наибольшей гармонии, произведения чистейшего искусства».

Андрей Рублев был вершиной древней русской живописи. Мстера хорошо знала рублевское письмо. До тонкости были изучены иконописцами старой Мстеры стили: новгородский, строгановский, древнемосковский.

Главным потребителем мстерской иконы было старообрядческое купечество. Нижегородский мукомол Бугров содержал в Мстере особого уполномоченного по иконописным делам. Старообрядчество требовало от Мстеры иконы древней. И в то время, как Палех переходил на фряжское письмо, Мстера держалась старых традиций. Мстерские иконописцы были великими стилистами, искуснейшими имитаторами художественной старины.

Николай Никифорович Овчинников, брат художника, в неопубликованной краеведческой работе «Краткий очерк истории иконописания в Мстере» сообщает:

«Большой спрос на древние иконы в музеи, в старообрядческие храмы и моленные заставил производить подделки под старинные иконы. Образовались мастерские исключительно по реставрации икон...

Так искусно могли мстерцы писать по древним образцам, что часто специалисты становились втупик в определении возраста только что написанной иконы. А с какой тонкостью реставрировались древние иконы: подписывалось к небольшим уцелевшим от времени пятнам больше половины изображения, и икона ставилась часто в музей как древняя, целиком сохранившаяся...

А если было нужно подделать икону, подменить новую под старую, тогда ее спиливали толщиною в три миллиметра, накладывали новый грунт и писали копию. Эту копию отдавали заказчику за его икону, а спиленную наклеивали на другую доску, реставрировали и продавали за очень хорошую цену. Если икона не подделывалась, а просто, как выражались мастера, «писалась под старинку», тогда писали ее на холсте. Накладывали грунт, писали в темных красках, под старое новгородское письмо, потом мяли этот холст так, что грунтовка вся трескалась, местами чуть не отваливалась. Тогда этот холст наклеивали на доску и чернили, покрывая копотью и грязной олифой. Икона выходила настолько старая, что сам мастер не узнавал своей работы...»

До сих пор по Мстере ходят рассказы о том, как даже знатоки попадали впросак на мстерских подделках.

Ценитель древней живописи князь Путятин отдал жившему в Москве мстерскому иконнику Чирикову старую икону для реставрации. Икона была редкостная и стоила больших денег. Чириков не удержался: спилил икону. На старую доску наклеили вновь написанную копию, схожую с подлинником как две капли воды. Копию Чириков отнес Путятину.

— Вот, ваше сиятельство, извольте получить... отреставрировали вашу иконку-с...

Князь не заметил подмены. Может быть, он так и не узнал бы ничего. Может быть, профессора-искусствоведы, эстеты и археологи, приходя в гости к князю, при созерцании чириковской коши ощущали бы запах столетий. И, вероятно, кто-нибудь написал бы о ней ученое исследование. Но внезапно обман раскрылся. Кто-то из мастеров, будучи обижен Чириковым, рассказал князю о проделке хозяина.

Путятин вызвал иконника:

— Ты что же это делаешь?

— Не понимаю, о чем изволите говорить, ваше сиятельство.

Князь вспылил. Приказал немедленно принести спиленную икону. Чириков испугался. Икону пришлось вернуть.

Когда Чириков явился с иконой, князь посадил его в кресло и спросил уже спокойным тоном:

— Ну, а теперь расскажи, как вы это делаете?..

Жил в Мстере иконник Шитов, сам хороший мастер, понимавший толк в старине.

Работая со своими иконописцами в церкви села Борисовского, около Владимира, он увидал в алтаре икону в простом жестяном окладе. Икона была древняя, новгородского письма. У Шитова на нее глаза разгорелись:

— Эх, ребята, спилить, что ли? Ну куда им, дуракам, такая икона? Что они в ней понимают?

Он долго колебался: спилить или не спилить? Осторожность удержала:

— Боязно. А только попадись эта самая икона в руки кому другому, обязательно спилили бы. Не быть бы ей здесь!..

Нынешние мастера миниатюрной живописи, когда-то работавшие у Шитова, Чирикова и других иконников, в совершенстве изучили древнее письмо.

Но в той затхлой среде, которая опутывала иконописцев пыльной паутиной ремесленных будней, они не чувствовали себя художниками и не были ими. Мастера не знали, что делать с богатствами древнего искусства, которые были в их руках.

Этими богатствами они воспользовались теперь, когда их работа стала свободным творчеством художника.

РУССКИЕ ГОЛЛАНДЦЫ

Художники смотрят на сады, на луга и шпут свои композиции. Кисточками, связанными из волосков белки, они делают мельчайшие мазки. Концы кисточек тоньше игольного острия.

Кисти Мстера получает из Палеха. Там их с непревзойденным мастерством вяжет художник А. В. Котухин. Но стиль у Мстеры — свой, не похожий на стиль Палеха.

Мстерская миниатюра пейзажна. Ее стиль идет и от старинной иконы, и от мстерских широких далей. Палех — линия. Мстера — цветное пятно.

«...Мстера теперь не похожа на Палех. Последний тяготеет к графичности, к жесткому контуру, любит контрастные цвета, замкнутые в своей красочной определенности. Заковывает в золото фигуры. Живопись дается на черном фоне.

Мстера, наоборот, не знает графичности, избегает отделки золотом. Она — живописнее. Стремится к колористическому единству. Предпочитает цветные фоны: голубые, бирюзовые, красные, охристые. Черного фона не применяет. В тех же случаях, когда черное оставляется, живописец почти закрывает его скалами, растительностью. Черное в мстерской живописи воспринимается как цвет.

В противовес Палеху, где в центре стоит фигурная композиция, Мстера разрабатывает пейзаж, растворяя в нем отдельными живописными пятнами фигуры людей и животных...»

В. М. Василенко писал это в 1933 году. С тех пор в мстерской миниатюре изменилось многое. Действие, сюжет выступают в ней все определеннее. И колорит миниатюры теперь все больше определяется темой, сюжетом, все чаще вытекает из содержания вещи.

Мстера смела в своих художественных исканиях.

Сочетание иконописной выучки с реалистическими стремлениями внесло в мстерскую миниатюру столько свежей пре-

Н. КЛЫКОВ № 1740
ИСШЕРА 1734 XI

лести, что искусствоведы сравнивают живопись народных художников с живописью ранних немцев и фламандцев, вспоминают Брейгеля Бархатного.

Мастеров Мстеры называют «русскими голландцами». Но они не голландцы, не итальянцы, а сами по себе. Их молодое искусство еще все в дороге, все на заре.

ПРОБЕГ КИСТЬЮ

Осенью 1935 года в одном из крымских домов отдыха я видел расписные ковры. Бойкая кисть намалевала на холсте «Первый поцелуй», «Лунную ночь», «Русалок», «Стеньку Разина».

Такие ковры писали в Мстере с 1919 по 1930 год. Писали, чтобы подработать. Безземельная Мстера шла в искусство по терниям нужды. Оттого она шла медленно. Ковры и матрешки не были искусством. От Палеха до Мстеры недалеко. Расстояние между матрешечно-ковровой живописью мстерцев и миниатюрами палешан было огромно.

Палех уже был мировой знаменитостью. О Мстере не слыхал никто.

Нужно было напрячь все силы, чтобы вырваться из ремесленничества в искусство. Нужны были вера в успех и готовность пойти на лишения. Все это нашлось у мстерцев. Решили, по примеру Палеха, писать на папье-маше.

Раньше русские художники ездили учиться в Италию. Мстере незачем было ехать за границу. Изучать лаковое дело можно было в федоскинской артели и в Московском кустарном музее. В 1930 году мстерская артель живописи послала четырех своих работников в Федоскино и в Москву.

Но овладеть техникой лакового производства еще не значило найти свой художественный стиль. Его надо было открывать, как новую страну; завоевывать, как стратосферу.

Искать стиль приходилось в обстановке, мало соответствующей значительности этого дела. Весной 1931 года артель живописи в сущности была артелью столяров. Они составляли большинство. Живописцев можно было пересчитать по пальцам одной руки. Мастерской живописцы не имели и вообще были в загоне.

— Посадили нас, пять человек, работать в коридор — вспоминает А. И. Брягин.— Работали мы, не жалея ни сил, ни глаз. Все создавалось каким-то напряжением...

Мастера росли вместе со страной. Они двигались вперед, как герои ашхабадского пробега. И не прошли,— пробежали расстояние, отделявшее их от настоящего искусства.

ОТ СТАНКА К КИСТИ

Последователь старика Клыкова, пожилой мастер Владимир Федорович Голышев, закончил новую миниатюру. Над зелеными, прямо стоящими деревьями темнела лиловая туча. Ее прочертили золотые молнии. Маленькие человечки бежали под секущим дождем.

Тут все было клыковское: и лилово-синеватые прозрачные тона пейзажа, и как бы детской рукой написанные фигурки людей, и легкие, возносящиеся вверх деревья,— их и гроза не согнула.

Клыковские краски легли на миниатюры двух других мастеров: И. И. Тюлина и Н. Н. Клыкова-сына.

Николай Николаевич Клыков унаследовал от отца высокий лоб, цвет глаз и ремесло иконописца. В артель он вступил недавно. До артели жил в Ленинграде, работал на Путиловском заводе. Заболел. Признали инвалидом. Поехал на родину, в тишину, поправлять здоровье, удить рыбу. Он уже знал об артели живописцев, читал о них раньше. Но для того, чтобы до конца ощутить то новое, что вошло в жизнь Мстеры, нужно было увидеть все собственными глазами. Николай Николаевич был удивлен. Изменилось не только село: изменились люди, с которыми до революции он писал иконы. И не то, чтобы постарели, а как-то даже помолодели, несмотря на тронутые сединой виски, на морщинки, на болезни. Они писали чудесные миниатюры. Кончив работу в артельной мастерской, жили этой работой и дома. Читали, набрасывали эскизы. Толковали о новых темах, об артельных делах, о старике Клыкове, знаменитом мастере, что «выгляделся» на мелочи и теперь шагает впереди всех.

Николай Николаевич пришел к отцу. Старик смотрел через очки на квадратную пластинку и расцвечивал рисунок своими северными холодноватыми красками.

— Работаете, папа?

— Работаю потихоньку, как умею...

— А зрение каково?

— В очках еще вижу.

За самоваром отец сказал:

— Ну, давай, говори о себе...

Но говорить о себе, о своей болезни почему-то вдруг расхотелось Николаю Николаевичу. Он почувствовал, что еще не так плохо его здоровье, как казалось до сих пор. Ощутил в себе какие-то новые силы. Ему ли, еще совсем молодому в сравнении с этим стариком,— ему ли, полному жизни, складывать руки? Нет, рано, рано! Надо брать кисть и учиться, переучиваться. Нужно догонять других. Догонять и этого благообразного розового человека с белым пухом на голове и наростами у слезящихся глаз, ставшего таким замечательным художником. На заводе Николай Николаевич видел героические дела. Сам участвовал в этих делах. Это героическое, высокое он ясно увидел теперь и здесь. Пожилые, наполовину износившие себя люди размахнулись на большое начинание и отдавали ему свое лучшее.

И Николай Николаевич вступил в артель живописцем.

БАБОЧКА

По вечерам мстерцы ходят в театр на спектакль или кинокартину. О том, что театр был когда-то церковью, можно догадаться лишь по белым колоннам фасада. В театральном фойе звучит радио. Спектаклями, кинолентами, красными уголками, газетами — этими признаками нового быта с каждым днем все больше вытесняются черты прежней купеческой Мстеры: неприбранность, малограмотность, мещанский дух.

А не так давно захолустье чувствовалось в Мстере довольно сильно.

Сейчас художников Мстеры называют «русскими голландцами». Несколько лет назад у них было другое имя: «кукольники».

Так окрестил мстерский обыватель членов артели, начавших свою работу с росписи кустарных матрешек. Над «кукольниками» в селе смеялись. Им предсказывали мрачную будущность:

— Ничего у вас не выйдет, насидитесь без хлеба.

Не счесть всех булавочных уколов, назойливых пустяков, камней из-за угла, которые иногда ранили довольно ощутительно,— ранят до сих пор, мешают заниматься делом.

Тяжелую борьбу вынесли мастера Мстеры. И не только с нуждой, но и с ядовитой завистью, с мещанским злорадством, с грубым пренебрежением невежд. И все-таки работали, выбивались из «кукольников» в художники. И выбились.

Из куколки вылетела яркая пестрокрылая бабочка искусства.

МАСТЕРА ЖИЗНИ

Еще утром наша хозяйка, согнутая старушка, сказала:

— Гроза нынче будет.

— Почему вы так думаете, Таисья Яковлевна?

— Молоко-то на вкус не кислое, а свернулось.

Таисья Яковлевна стояла у двери, желтолицая, в черном ситцевом платке, и терлась спиной о косяк. Так она лечилась от ревматизма.

— Спина совсем отнимается... прямо смерть моя!..

Наша комната тонула в тени. В ней еще таилась ночная прохлада, а на улице уже стоял душный зной. Все было неподвижно: раскаленный воздух, деревья с обвисшими листьями, трава у забора. Только вверху, над садами, бесшумно ворочались и боролись белые и серо-сизые медведи.

В этот день пыль под ногами казалась золотой. В нагретой и тоже будто неподвижной Мстерке плескалась детвора. По брюхо в воде стояли коровы, задумчиво опустив рогатые головы.

Художник Василий Григорьевич Голубев сидел в своей комнате на Набережной и работал. Устало водя кистью по холсту, он писал «Индустриальный пейзаж». Пахло в комнате яблоками. Мухи с дремотным жужжанием слепо бились о стекла. В окнах дрожала и струилась луговая даль.

— Малюю. В Иванове будет некогда.

Василий Григорьевич работал в областном союзе художников. Но, как и Модоров, он тоже был наполовину мстерцем. Юношей учился в здешней иконописной школе. Узнал иконные стили, завел друзей на всю жизнь.

На картине были написаны фабричные корпуса, домики, заборы, измятый городской снежок.

— Ну и баня! — сказал Василий Григорьевич, посмотрев из-под пенсне.—Искупаться, что ли?

Купались. Вода только на минуту взбадривала тело. Изредка раскаленно дышало с лугов. Сухо ковали в тишине кузнечики. Далеко-далеко вздыхал гром. Медведи, наигравшись, ушли, и солнце палило во всю силу.

Вдруг из-за Мстеры, с севера, потянуло, как от картины Василия Григорьевича, освежающим холодком. Из-за кровель села беззвучно и быстро катился по небу зловеще черный вал, а под ним клубилось что-то седое и легкое. Туча закрыла солнце. Сразу потемнело. И стало так тихо, будто все затаило дыхание.

Торопились поспеть до дождя домой. И вот ударил в лицо ветер. Он рванул траву и кусты, закувыркал на дороге сухие листья, закрутил соломинки и песчаную золу. Уже упали редкие тяжелые капли, когда мы подбегали к нашему, похожему на купеческую палатку, дому. Под окнами стояла артельная подвода. Приезжие—невысокий человек в пальто и полная женщина — входили на крыльцо...

Треснуло небо. Все облилось голубым светом. Даже лошадь шарахнулась от громового удара. И вслед за этим кто-то высыпал на железо кровли ящик гвоздей. Ливень обрушился на землю, внезапный и бурный.

Приезжие — профессор Бакушинский с женой — сидели за самоваром. В окна кидало водяным горохом, барабанило по крыше. Лица голубели от молний. Электричество горело тускло. Таисья Яковлевна внесла в комнату зажженную лампу.

У Анатолия Васильевича Бакушинского розовое лицо с большим круглым лбом и голубыми глазами. На висках и затылке гладко лежат русые с проседью прядки.

Сухие седые волосы Зинаиды Николаевны можно принять за парик — совсем не идут они к свежему полному лицу с небольшими темными глазами. На белой кофточке цвела нарисованными розами овальная брошь из папье-маше—маленький, сотворенный рукой художника мир. Зинаида Николаевна сразу почувствовала себя дома и как-то уютно разливала чай. Радовалась, что не попали под дождь:

— Вот бы вымокли!..

Профессор Бакушинский помогал мстерцам в творческих исканиях. Два года назад Анатолий Васильевич прожил в Мстере целое лето. Изучал здешнюю иконопись, толковал с мастерами о реалистической живописи.

Мастера были сильны тем, что дала им икона: красивым пониманием цветов, строгой разработкой сюжета, умением обобщать линии, ясностью и четкостью рисунка. Им нехватало другого: знания форм живой природы. И мастера в то лето писали на папье-маше натюрморты. Учились рисовать с натуры.

Сдвиг, который совершила Мстера два года назад, был ей необходим. Он обогатил мастеров. Научил их понимать, что

рост — это движение и что силу движению сообщает только жизнь.

И в нынешний свой приезд профессор не тратил времени даром. Рано встав, он с юношеской легкостью шел в артель. До чаю успевал обежать цехи, поговорить с мастерами, посмотреть на миниатюры, сделать отметки в своем блокноте. В разговоре называл всех «отцами»,— даже тех, кто годился Анатолию Васильевичу в сыновья:

— Ну, как дела, отец?

Быстро поворачивался то к одному, то к другому. Внимательно смотрел в лица. Деятельный, целеустремленный, подвижной без суетливости, он побывал на квартирах мастеров и в артельной школе. Собрав художников, говорил о путях Мстеры. О том, как писать. Краски должны быть радостны, но не слащавы. Фигуры на миниатюре надо делать звонче пейзажа. Нужно итти к жизни, к природе. Только так Мстера, взявшая от древней живописи самое ценное, может двигаться дальше...

Клязьмой Бакушинские поехали в Холуй, на родину Анатолия Васильевича, в тамошнюю живописную артель. Они уезжали вечером. Профессор смотрел с парохода на удалявшийся берег и махал фуражкой художникам, которые стояли на пристани:

— До свидания, до свидания!

Пристань ушла за поворот. Запыленное солнце опускалось в Клязьму. От реки пахло водой. Зелень берегов стала свежее, ярче. Мстера была за лугами, за туманами...

В один июльский день лучшие мастера — Брягин, Овчинников, Котягин—заседали в поселковом совете. Шла речь о предстоящем юбилее мстерской миниатюры и о том, что придется сделать к юбилею. Надо осветить Мстеру, соединив ее с проходящей мимо села горьковской электролинией. Выровнять улицы. Проложить шоссейные дороги. Устроить в Мстере музей творчества. Завести хорошую библиотеку. Открыть Дом художника.

В распахнутые окна просторной комнаты сельсовета входил запах цветущих лип, запах молодости.

Над столом склонился секретарь собрания. Его перо быстро бегало по бумаге. Художники говорили об артели, о новой Мстере. И радовались от мысли, что тонкая кисточка, одевающая красками папье-маше, сделает теперь такой же яркой и красивой жизнь целого села.

Володимъ

МСТЕРСКИЕ БЫЛИ

ТАРСКОЙ улицей, мимо клееночной фабрики, мимо деревянного терема с башенками, где в первые годы революции был рабисовский клуб имени Андрея Рублева, а теперь помещалась рабочая столовая,—Александр Иванович Брягин повел нас за дамбу, в лес.

За вертлявой Тарой с каемкой капустных огородов свежо зеленела мелкой травой луговая низина. По ней вились узкие тропинки. Спустившись с пыльной, разъезженной дамбы, мы направились по лугу к яркому, полному солнечных просветов лесу, что взбирался впереди на пригорок. Навстречу шли дети с корзиночками земляники, женщины — с сучковатыми сухостоинами на плечах.

Своим мягким, слегка сиплым голосом, чуть растягивая слова, Александр Иванович говорил:

— Вот на этом лугу в голодные годы сажали картошку, сеяли рожь. А еще раньше, когда я в парнях гулял, от гусиных стад не видать было травы. Гуси паслись день и ночь. На двор их не загоняли...

Все дальше углублялся в старину Брягин... Эти вон леса до самого Коврова тянутся. Когда-то они смыкались с Рожновым бором, Горьковского края, и легендарными Муромскими лесами. Год от года редеет лесная чаща, но еще и сейчас в ней водятся волки и медведи. А прежде жили и разбойники. Помнят в Мстере стоявшую при дороге столетнюю сосну с железными цепями. Тут, говорят, останавливались на перепутье проезжие купцы. Привязывали к сосне лошадей. Недобрая слава ходила об этом месте. Немало народу рассталось

тут с вольным светом под ножами да кистенями. Прадед Александра Ивановича был мясником, ездил по деревням скупать скотину. В одну из своих поездок попал он в разбойничий притон. Разбойники ограбили его и хотели убить, да пожалели ради молодости. Взяли с парня клятву, что ничего никому не скажет, и заперли в коровник. Он выбрался через соломенную крышу и белый, как мука, прибежал в Мстеру. Позднее часто видал он одного из разбойников. Разбойник был мстерский, торговал на базаре мясом. Клятву прадед держал крепко и только перед самой смертью решился открыть домашним свою тайну.

До сих пор ходят по мстерскому краю предания о разбойничьем атамане Егоре, смутные отзвуки давней лесной были. Рассказывают старики, что красная рубаха вора Егора была крепче панцыря. Платок-самолет спасал его от острога. Был вор Егор бунтарем, защитником мужицкой голытьбы. Грабил богатых и помогал бедным. Напал на поезд царя Алексея Михайловича, ехавшего во Флорищевскую пустынь. Встретил бедняка, горшечника, перебил его товар и превратил глиняные черепки в золотые деньги.

В северной части мстерского края, у местечка Моста, и сейчас указывают следы землянок Егора и будто бы зарытых им кладов.

Но вот Егор — уже сказка. А вот дом, где живет Александр Иванович, тоже когда-то был гнездом разбойников. Во дворе дома — артельный огород. Копая гряды, каждый год находят артельщики в земле какие-то кости, старинные монеты, звенья цепей, наручники.

— Клада не вырыли, а такого добра много...

Мы сели на пригорок у подножья леса. Справа и слева толпились высокие красноствольные сосны. В негустой и нежной траве темнело множество мелких чешуйчатых шишек и рыжела опавшая хвоя. Меж деревьями убегали в прохладный сумрак коровьи тропинки. Разогретый воздух благоухал смолой.

А ниже, по откосу, шелестела молодая березовая поросль. Там, на пригреве, поспевала земляника и, просвечивая в траве, возле темных невысоких елок белели свечками восковые фиалки.

Брягин глядел на Мстеру, на луговину, где паслись стреноженные лошади. Он вспоминал годы, когда и ему приходилось корчевать на этом лугу кусты, копать его под картошку, обирать капустных червей. Да, много, много всего было в жизни. И все отодвинулось почти в такую же недосягаемую даль, как разбойники с их кладами.

МУЗЕЙ

Наискось от артели, под окнами чайной инвалидов, разложили свои товары гончары, выстроились в ряд бабы с творогом, сметаной, свежей рыбой. Среди новеньких звонких кринок и до глянца обожженных горшков, среди голубоватых четвертей с молоком и перистых пучков зеленого лука ходит слегка согбенный, серый старичок Петр Матвеевич Заводчиков, хранитель мстерского музея. Его бумажный пиджак и бледное, под загаром лицо — одного цвета. Щеки и подбородок бриты. На ногах — тяжелые тупоносые сапоги. Они оставляют в мягкой дорожной пыли резкие продолговатые следы.

Петр Матвеевич следит, не торгуют ли где табаком-самосадом или картошкой, продажа которых для района еще не разрешена. Уличенных в торговле этими продуктами Петр Матвеевич берет за рукав и говорит:

— Пойдем в милицию.

Он — мстерский активист-общественник. История жизни Петра Матвеевича замечательна. Рассказывают, что раньше занимался он кладкой печей, был набожен, теплил пред домашней божницей лампады, не пропускал ни одной церковной службы, носил в крестных ходах иконы и хоругви, выбирая те, что поувесистее.

Потом для Петра Матвеевича наступило прозрение. Он вступил в союз безбожников, да не один, а с женой. Он страстно возненавидел старый мир. Собирал иконы, иконостасы и сжигал их на кострах. Вскрывал гробницы князей Ромодановских, схороненных в здешней Богоявленской церкви и причисленных молвой к святым. Торжествовал, находя вместо нетленных мощей обыкновенные кости. Сбрасывал с крутой горы в воду Мстерки могильные памятники.

Прошли годы. Петр Матвеевич попрежнему собирает иконы, но уже не для сожжения. Он научился видеть в них корни той современной миниатюрной живописи, образцы которой хранятся в его музее. Но главным образом он пользуется ими для антирелигиозной пропаганды. Он — ревностный приобретатель и зоркий сторож музейных вещей. Услыхав, что в такой-то деревне есть старая книга, икона или другое что, он

идет в указанное место и выпрашивает у хозяев вещь для музея. Расстояние для него не имеет значения. Петр Матвеевич малограмотен, описи музейного имущества не имеет и все держит в уме, в памяти. Он так ушел в новое свое дело, так сжился с окружавшими его вещами, что эти вещи наложили свою печать на весь его облик. Кажется, что тот холодок, который затаился в церковных стенах музея, застрял и в складках его пиджака, и в порах кожи. Кажется, что сумерки музейного здания обесцветили его лицо, глаза, волосы, сделали его чужим солнцу, ветру, лету.

День встает жаркий и парной. Где-то прошел дождь — и воздух, как в бане, насыщен влажной духотой. Небо полно пухлых облаков, но они плывут, минуя горячее и тоже будто парное солнце. Где-то ворчит дальний гром.

Осмотрев базар и сделав кое-какие покупки, Петр Матвеевич направляется домой. Он живет в церковной сторожке при музее. Мы идем за Петром Матвеевичем по мягкой от пыли улице. Напротив торговых рядов белеют древние, поросшие молодыми рябинками стены бывшего монастыря, видны зеленые кованые ворота.

Мы входим в церковный двор. На каменных плитах лежит лохматая дворняжка, дыша часто и жарко. Рядом бегает головастый и шаловливый щенок. Повизгивая, он доверчиво подкатывается к нам под ноги,— теплый комочек с похожими на чернику глазами. Трудно удержаться от того, чтобы не погладить это ласковое существо с материнским молоком в глазах, и мы по очереди касаемся руками его мягкой шерсти, а собака-мать смотрит на нас взглядом, выражающим и просьбу не обидеть ее детеныша, и благодарность за ласку к нему, и готовность броситься на защиту его в случае надобности.

В это время Петр Матвеевич открывает музей. Гремят пудовые засовы, визжит окованная несокрушимым железом дверь со следами полуисчезнувшей росписи.

Кроме нас на церковном дворе есть и другие посетители: девочка с ребенком на руках и два-три колхозника в густо запыленных сапогах.

У входа в музей-церковь Петр Матвеевич задерживается для объяснений. Он толкует о вросших в землю петровских пушках с каменным ядром на цепи, о литом железе, которым покрыта церковь, о прочности старинной кладки. Тут он обнаруживает знания и опытность специалиста по печным делам.

— Этим кирпичам триста, а то и четыреста лет. А смотрите, какая крепость до сих пор!..

— Да, кирпичики,— говорят колхозники с уважением.— Это да, работка!..

В музее — холод и тишина склепа. Наши голоса и шаги будят в куполе гул неразборчивых отзвуков. В музее Петр Матвеевич словно мундир надевает,— мундир важности и достоинства.

Серьезный и даже торжественный, Петр Матвеевич останавливается возле длинного ряда серых гробниц с останками князей Ромодановских, бывших властелинов Мстеры, и объясняет:

— С этих гробов темная масса в период весенней посевной кампании брала сырость и мазала себе глаза.

Петр Матвеевич разворачивает громадные, как ворота, рукописные книги с цветными заставками, показывает старинные ризы из мешковины, из крашенины, из парчи, расшитой жемчугом. В то же время он следит за появившимися в музее мальчишками: не набаловали бы чего? — Как зеницу ока, бережет Петр Матвеевич собранное неусыпными трудами музейное имущество.

— Вы чего тут?— строго кричит он на мальчишек, и стены вторят окрику: «ы-э-о-ууу...»

— Поглядеть...

— Глазами гляди, а руками не трогай!

Петр Матвеевич продолжает показ музея дальше. Он надевает на голову заржавленный шлем с забралом,— надевает его задом наперед и вразумительно говорит:

— Эта стрела предохраняла затылок человека от ударов меча.

А в отделе икон останавливает наше внимание на изображении Георгия-победоносца:

— Вот любимый святой старой буржуазии. Спас от змея царскую дочь. Знал, за кого оружие поднимать. Небось, бедняков не спас бы!

Мы рассматриваем древние образа, деревянные скульптуры.

Распятый с раскосыми глазами и лицом монгола похож на Будду. Шелка и парчи монастырских вышивок иссеклись, перегорели от времени. Пред нами — застекленный ящик с костями Ромодановских, резьба старинных наличников, образчики здешней почвы и многое другое, что отличает Мстеру от прочих сел и городов. Пред нами — кладбище вещей, памятники жизни, которая прошла. Приходят на ум глухие времена княжеских уделов, Владимиро-Суздальская Русь. Темный лес шумел тогда на месте Мстеры.

Село Ковровского района, Кляземский Городок, отделяют от Мстеры тридцать километров. Село Кляземский Городок забыло ту далекую пору, когда оно было стольным городом

Стародубом. Только в летописях осталась память о Стародубском удельном княжестве.

Ветвились княжеские роды. Уделы дробились на волости. Из Стародубского княжества выделилась волость Ромодань, вотчина князей Ромодановских. Ромоданью, крепостной данницей Ромодановских, долго была и Богоявленская слобода, будущая Мстера.

Триста лет назад то место, на котором сейчас находится музей, уже не было дикой лесной чащей. Над светлой Мстеркой, над заливными лугами возвышался Богоявленский монастырь. Под белые монастырские стены приходили разорившиеся, «непашенные» крестьяне, селились на здешней земле. Так появилась слобода, выросшая позднее в село. Владельцы Мстеры князья Ромодановские жили в столицах, получали через своих приказчиков и бурмистров с населения оброчные деньги и приезжали в свою вотчину только умирать. Хоронили их в фамильной усыпальнице, устроенной в той самой Богоявленской церкви, откуда сейчас мы смотрим в прошлое Мстеры.

Ромодановские служили при дворах царей, командовали стрелецкими полками, усмиряли восставших крестьян. Григорий Ромодановский был убит во время стрелецкого бунта в 1682 году. Труп его стрельцы волокли на Красную площадь, крича:

— Вот боярин князь Ромодановский! Дайте дорогу!

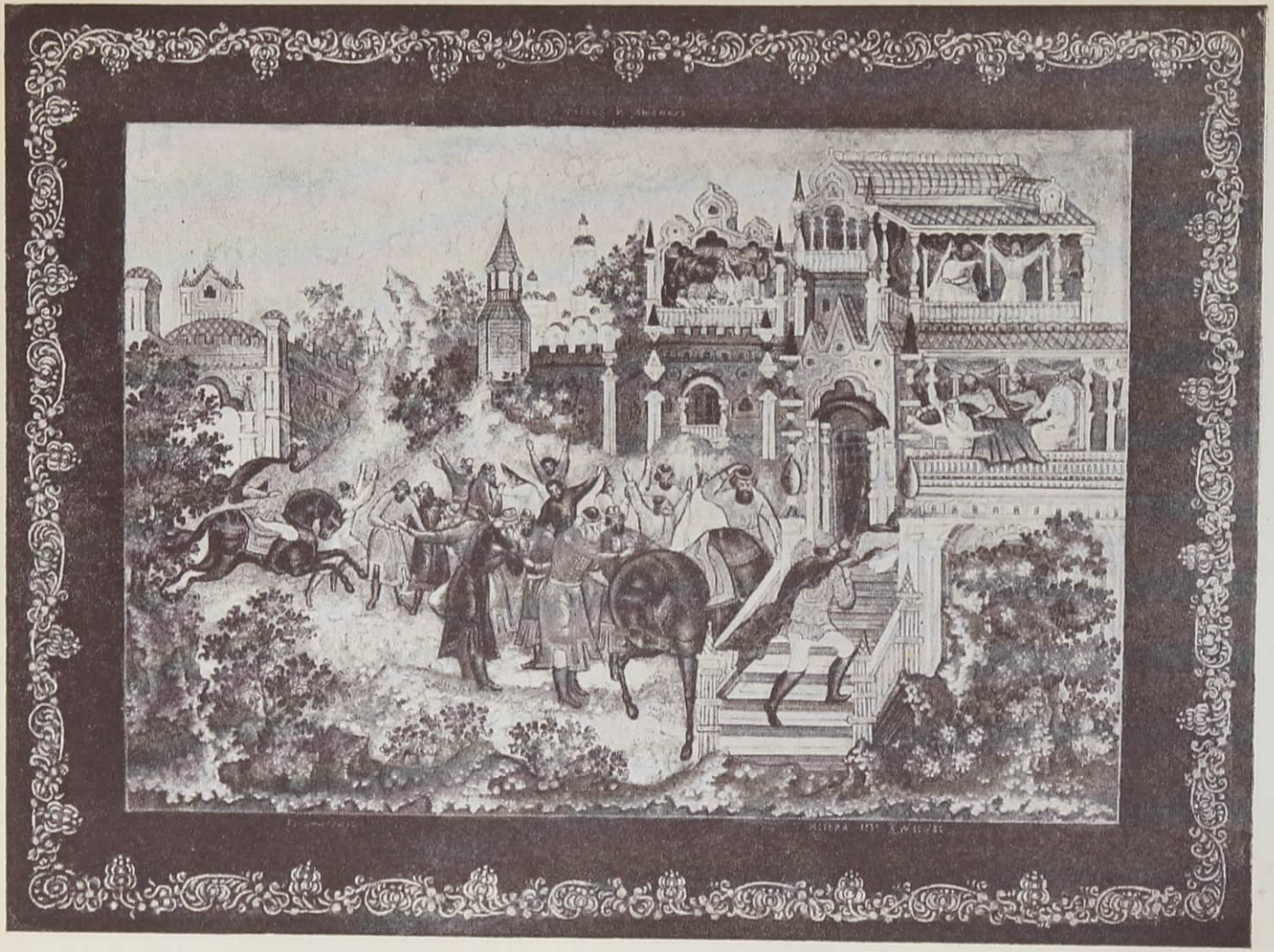
Но самой яркой фигурой в роду Ромодановских был Федор Юрьевич, начальник пыточного Преображенского приказа, «князь-кесарь».

Долго давила Мстеру власть Ромодановских и других помещиков. Несколько раз переходило село от одного дворянского рода к другому, как приданое княжеских и графских дочерей.

Малоземелье с давних времен заставило Мстеру развивать промыслы. Основным делом мужчин была иконопись. Женщины занимались вышиванием и огородничеством.

В 1861 году в четырнадцати километрах от Мстеры прошла Нижегородская железная дорога, включив село в торгово-промышленную систему всей России. Царская, дворянско-купеческая Россия строила кабаки и рядом с кабаками — церкви. «Владимирским богомазам», в том числе и мстерцам, хватало работы. Мстерская икона шла в Сибирь, на Кавказ, в Бессарабию, на Украину и так далее. Хозяева иконописных мастерских богатели сказочно. Иконописный промысел все больше принимал формы капиталистической промышленности. Иконопись перестала быть искусством художника еще задолго до революции.

ДМИТРИЕВ Г. Т. *Охота на оленя*



ДМИТРИЕВ Г. Т.

Руслан и Людмила

СЕРЕБРЯКОВ И. А. *На оборону страны*

СЕРЕБРЯКОВ И. А. *Дубровский*

МОРОЗОВ К. Е.

Хаджи-Мурат

ГУРЬЯНОВ И. Т.

Выпуск стенгазеты в Красной армии

ТЮЛИН И. И. *Пейзаж*

САВИН В. И. *Хоровод*

КОРАБЛЕВ Н. А.

Капитанская дочка

Осмотрев музей, прочитав по вышивкам, иконам и обветшалым грамотам историю Мстеры, мы выходим на воздух, на солнце, в парное, материнское тепло дня. После сырого холода и полутьмы музейных стен краски, звуки и запахи лета кажутся особенно приятными. Они возвращают нас к жизни, к ее радостному трепету.

Пока мы смотрели прошлое Мстеры, прошел дождь. Его капли блестят в розетках травы, на цветах, которыми обсажена каменная дорожка от ворот к музею. Жужжат насекомые, освеженно и как-то радостно щебечут птицы. Небо чисто, будто вымытое блюдо.

И снова у наших ног вертится давешний щенок, стараясь лизнуть шершавым алым языком руки Петра Матвеевича.

А Петр Матвеевич, сняв с себя тот форменный мундир, который на нем чудился нам в музее, опять стал обыкновенным, будничным старичком. Он с напускной суровостью цыкает на щенка:

— Пошел на место! Вот я тебя!..

РОМОДАНЬ

Весной и осенью мстерские мастера ходят в соседнюю деревню Слободку помогать колхозу «Красный пахарь» в севе и уборке: артель — шеф колхоза.

Деревня Слободка рассыпалась на пригорке по правой стороне Клязьмы, над сбегающими вниз посевами овса и ржи. От деревенской околицы открывается широкий и задумчивый вид на Мстеру и Примстерье — на луга и реки. Берег Клязьмы за деревней крут, высок, изрезан оврагами, ощетинился лесом.

А еще дальше по течению Клязьмы, около Архидьяконского погоста, он забирается на такую вышину, что отсюда видно на десятки километров.

Мы стояли на берегу среди редких зелено-сизых кустов можжевельника. Внизу серебряным свитком лежала Клязьма. За ней разлетелись зеленые луга. За их ровным простором в несколько ярусов вздымались лесные опушки. И сквозь голубоватую мглу смутным намеком белели Вязники.

Несколько веков назад по этой земле скакали татарские наездники, дважды разорявшие Стародуб. По ней шли поляки мстить жителям Кляземского Городка за измену Лжедимитрию. Грабили, разоряли поселенцев Ромодани и русские князья. Дорого стоило право обрабатывать эту скупую песчаную землю.

Когда до мстерцев дошел «освободительный» манифест 1861 года, они ждали, что малоземелье Мстеры избавит их от выкупных платежей. В такой надежде и застал их приезд графа Панина, последнего владельца Мстеры.

Граф был в своем имении в первый раз от роду. Волостной старшина Голышев, бывший вотчинный бурмистр, самовластный и мстительный, постарался сделать графу самый пышный прием. Большие живые стерляди, хорошие вина и ананасы были приготовлены за счет общества. Жители получили от приехавшего графа позволение целовать ему руку.

Граф осмотрел имение, угодья, потом приказал собрать сход. На сходе он заявил, что желает оставить все в поль-

зовании общества и притом на прежнем платеже оброка, то есть как это было раньше.

Мстерцы были поражены: в чем же тут реформа, освобождение, воля? Сход заволновался, зашумел. Послышались возгласы протеста, крики. Крестьяне указывали графу, что земли у них мало. Граф обиделся и с сердцем сказал:

— Я в вашем согласии не нуждаюсь. Вот обращусь в губернское по крестьянским делам присутствие, да и возьму в свою собственность третью часть удобных и доходных угодий...

Тут граф быстро удалился к себе и приказал готовить к следующему дню лошадей для отъезда.

Волостной старшина Голышев постарался склонить крестьян к согласию на предложение помещика. Когда, на другой день, граф садился в карету, собравшиеся всем обществом крестьяне пали перед ним на колени.

Граф спросил:

— Что это значит?

Мстерцы отвечали:

— Просим, ваше сиятельство, прощения за вчерашнее несогласие.

— Вы меня расстроили,— томно сказал граф.— Я много хотел говорить с вами, но вы меня огорчили. Теперь прощаю вас, а для окончания дела пришлю управляющего...

Приехал управляющий графа для составления уставной грамоты. Поладили так: ценность всей слободы Мстеры была объявлена графом Паниным в 167 200 рублей, а мстерское общество обязалось выплачивать каждый год по 12 тысяч рублей «выкупных». Мстерцы платили в течение 25 лет, то есть выплатили 300 тысяч рублей, переплатив 132 800 рублей лишку.

Крепостное право кончилось для Мстеры на графе Панине.

Но жизнь мстерцев до 1917 года мало изменилась, да и не могла измениться, ибо Мстера была селом Российской империи.

Мы возвращались нагорной дорогой, вернее — без дороги, сбивая ногами необыкновенно крупные дождевики, белевшие в траве. Жаль было уходить отсюда. И мы все оглядывались, чтобы запомнить простор лугов, Клязьму, игрушечные колокольни дальних сел. Крутой тропинкой спустились в овраг, полный вечерних теней. Потянуло сырым холодком погреба.

Шли по неширокой береговой полоске. Клязьма текла, могучая и тихая. Плескались щуки. Человек в лодке зажигал огоньки баканов.

Со стороны Клязьмы к Слободке подступил молодой фрук-

товый сад. Со стороны Мстеры пред нею раскинулись хлеба. Мы шли хлебами. От дороги пахло сухой пылью. От ржи веяло затаившимся дневным теплом, похожим на душистое тепло горячего каравая.

Пред тем, как спуститься с холма, мы остановились, чтобы еще раз взглянуть сверху на Мстеру и луга. Остановились и наши тени, косые и длинные.

Заходящее солнце сказочно окрасило тонкие, мелкие облака, закрывшие почти половину неба. Казалось, кто-то гнал на ночлег стадо лилово-золотых баранов. Мы смотрели на облака, на Мстеру, на пойму, тепло озаренную алыми широкими лучами. В общественном саду уже играл духовой оркестр, и все словно прислушивалось к неясно звучавшей музыке. Тут нам пришел на память рассказ Василия Никифоровича Овчинникова о покойном дяде.

Старик любил мстерское раздолье. Взяв краюху хлеба, уходил в луга на целые дни — собирать травы, рыть какие-то корешки. Ему хотелось и смерть встретить не в избе, а в дорогих сердцу местах. Желание старика исполнилось. Поехал он в водополь на лодке за корешками — и не вернулся. После нашли его лежащим в лодке с пучком травы в захолодевшей руке.

Любят свою землю и нынешние мстерцы. Гордятся ею. Считают, что если где быть областному дому отдыха художников, так это у них, в Мстере.

— Какие у нас можно этюды писать! — говорят мастера.

— И поудить есть где. И для охотника замечательные места найдутся. Диких уток у нас по Старице — стада!

И правда: хороша эта просторная земля,— уже не мрачная Ромодань, а родина новых художников. Она богата цветами, плодами, птицей, рыбой, красотой. За рекой Старицей в конце мая травяное подножье леса густо закапано ландышами. Проходящую здесь Аракчеевскую дорогу обступили матерые вязы и березы. И не эту ли землю разбуженных сил шишут мастера Мстеры на своих лаковых коробочках?

Быльем поросла старая черная Ромодань.

НА ЛАВОЧКАХ

На закате, когда пропылит по улицам стадо и с лугов потянет сыростью, вся Мстера выходит из домов дышать прохладой вечера. Сидят на крылечках, бревнах, лавочках, завалинах.

Сладко пахнет по улицам цветущей липой,— уже вошел во вторую половину июль, и липы стоят в желтом пуху, в пчелином гуде. Тени от домов и столбов тянутся через всю улицу. Алое солнце плавится в окнах.

Сидят на лавочках горбатые, сухие старушки и согнутые старички. Их в Мстере — много. Должно быть, здешний воздух способствует долголетию. Сидят степенные, умудренные жизнью, смотрят на играющих детей, на гуляющую парочками молодежь. Слушают музыку, глухо звучащую в общественном саду, смех и восклицания гуляющих. Ведут неторопливый разговор.

— Хорошо теперь молодым-то,— все им доступно: и ученье, и любая работа. Вот у Овчинникова все дочери ученые...

— А мы, бывало, и читать не умели, всего боялись. Нечем и жизнь-то вспомянуть...

Смеркается. Гаснут в окнах алые отблески. Тени на дороге сливаются с сумерками.

Идут с реки приезжие дачники: высокий, сутулый мужчина и полуголый, покрытый кофейным загаром мальчик; оба с удочками. Они проходят мимо сидящих на лавочке старушки-хозяйки и ее снохи. Слышен вопрос:

— А рыба где?

— А рыба в реке,— говорит квартирант.

— Ох, горе-рыболовы! На серебряный-то удильник, знать, лучше клюет. Ходила утром дачница на базар, во какого язя купила!

Вздыхают старички и старушки. Вспоминают прошлое, неудачливые молодые свои годы и тот старый уклад жизни, который когда-то казался прочным и незыблемым, как приземистая купеческая палатка, а рассыпался карточным домиком.

СТАРАЯ МСТЕРА

«Мстера носит только официальное звание села, а по фабричной деятельности (разные домашние производства, преимущественно иконопись) и торговле, по всему быту жителей, вовсе не занимающихся земледелием, кроме огородничества, в особенности значительного разведения лука,—это настоящий город. Под словом «город» мы разумеем не более, как помесь города с деревней, фабричности и коммерции с сельским бытом, городских нравов с крестьянскими».

Г. Безобразов — «Путевые записки» («Русский вестник», 1861 г., т. 34-й).

К революции Мстера подошла в облике российского захолустья — ни городом, ни деревней. Подошла с торговыми рядами, с питейными заведениями, с заводами и мастерскими купцов-хозяев.

Давно уже мстерцы перестали крестьянствовать и перешли на иконопись. Жили в каком-то искусственном, своеобразном мирке, где и язык был свой, иконописный. Очень характерный для старой Мстеры анекдот рассказал нам артельный художник Александр Михайлович Меркурьев:

«Сидит у реки удак-иконописец. Мимо идет крестьянин с уздой. Спрашивает:

— Не видал ли лошади?

— Видел цвета санкирь с белильцем... проходила тут. Твоя?

— Моя-то гнедочалая... Гнедочалой не видал?

— Нет. Вот под цвет санкиря видел, а по санкирю белильца пущены...»

— Так и не поняли, что про одну лошадь толковали,— пояснил Александр Михайлович.— «Санкирь» — это темнокоричневый тон, а «санкирь с белильцем» как раз и будет гнедочалая масть.

Трехоконные домики Мстеры перемежаются двухэтажными каменными домищами-крепостями. Возле них кирпичные палатки с тяжелыми пудовыми замками на железных две-

Колхозный урожай
Мстера

рях, с частыми решетками в окнах. В домах-крепостях жили купцы и хозяйчики-иконники: Крестьяниновы, Фатьяновы, Тюлины. В палатках хранилось «добро», стояли прохладные, обросшие пылью четвертные с ягодными настойками — обязательное угощение при сделках с тароватыми офенями, развозившими иконы по России.

Купцы были богомольны и скаредно скупы. Любили патриархальную простоту нравов. По субботам хлестались в бане крапивой. После бани, в длинных, подпоясанных подмышками рубахах и нанковых подштанниках, благодушествовали на лавочках, снисходительно кивая в ответ на низкие поклоны проходящих. Любили почет хозяева.

Подходила бедная вдова, униженно просила принять сына-мальчика в обученье.

— Ладно, Петровна, приводи. Выучим поля крыть, олифить, грунтовать,— будет мастер.

Ученика брали на три, на четыре года. Мальчуган употреблялся для услуг мастерам: растирал краски, бегал за табаком, прибирал мастерскую. По истечении срока, на который был взят ученик, ему назначали жалованье — от пяти до двенадцати рублей в год. Только с этого момента он начинал работать.

А мастеров хозяева тоже держали в черном теле. Осенью, когда дни шли на убыль, хозяин устраивал для рабочих своей мастерской «засидки» — праздник, продолжавшийся иногда два-три дня, с вином, песнями, плясками. А после засидок хозяин начинал выжимать из мастеров выпитое и съеденное на праздниках. Мастера вставали на работу в четыре часа утра и гнули над иконами спины до семи вечера.

Ученик иконописной мастерской Алексей Пешков, впоследствии выросший в великого пролетарского писателя М. Горького, хорошо запомнил мир олифы и красок с его особенностями:

«...Иконописная мастерская помещалась в двух комнатах большого полукаменного дома; одна комната о трех окнах во двор и двух в сад; другая — окно в сад, окно на улицу. Окна маленькие, квадратные, стекла в них радужные от старости, неохотно пропускают в мастерскую бедный рассеянный свет зимних дней.

Обе комнаты тесно заставлены столами, за каждым столом сидит, согнувшись, иконописец, за иным по-двое.

С потолка спускаются на бечевках стеклянные шары; налитые водою, они собирают свет лампы, отбрасывая его на квадратную доску иконы белым холодным лучом.

В мастерской жарко и душно; работает около двадцати человек «богомазов» из Палеха, Холуя и Мстеры; все сидят в ситцевых рубахах с расстегнутыми воротами, в тиковых подштанниках, босые или в опорках. Над головами мастеров простерта сизая пелена сожженной махорки, стоит густой запах олифы, лака, тухлых яиц.

Иконопись никого не увлекает; какой-то злой мудрец раздробил работу на длинный ряд действий, лишенных красоты, неспособных возбудить любовь к делу, интерес к нему. Косоглазый столяр Панфил, злой и ехидный, приносит выструганные им и склеенные кипарисовые и липовые доски разных размеров; чахоточный парень Давидов грунтует их; его товарищ Сорокин кладет «левкас»; Миляшин сводит карандашом рисунок с подлинника; старик Гоголев золотит и чеканит по золоту узор; доличники пишут пейзаж и одеяние иконы, затем она, без лица и ручек, стоит у стены, ожидая работы личников.

Когда «тельце» написано личником, икону сдают мастеру, который накладывает по узору чеканки «финифть»; надписи пишет тоже отдельный мастер, а кроет лаком сам управляющий мастерскою, Иван Ларионыч, тихий человек...» («В людях».)

Мастерская, описанная Горьким, типична не только обстановкой, но и тем разделением труда, которое, будучи доведено до абсурда, превратило иконопись в цепь механических процессов, а иконописца — в живую машину. С такой работы можно было затосковать, запить. Пили в Мстере много. Допивались до «Каторги» иконника Д. Ханихина, речь о которой будет впереди. Досуг коротали за картежной игрой или столь же «глубокомысленными» занятиями.

Был в одной из мастерских маленький, худой столяр, которого все звали Яшкой. За гривенник Яшка позволял бить себя по голому животу поленом. Били. Дивились крепости Яшкиного живота. Гривенники Яшка немедленно пропивал.

Те, кто не пил, откладывали каждую заработанную копейку, не доедали, старались «выбиться в люди». Но копить было трудно. Хозяева любили платить товарами, которые получали от офеней в уплату за иконы. Товары отдавались мастеру по повышенной цене. Большею частью это была бакалея: чай, сахар, мыло. На рынке мастер мог купить все это дешевле, но расчет производился перед праздниками, и приходилось выбирать одно из двух: или получай товары, или оставайся на праздники без денег. Зубами скрипели, а брали.

Особенно низко оплачивался труд иконописцев, имевших дело с дешевой фольговой иконой, на которой писались только лица и руки, а все остальное закрывалось фольгой или золоченой бумагой. В предвоенное время в Мстере появились целые заводы этой ходовой иконы. Фабрикант-иконник Крестьянинов один из первых установил у себя штамповальные станки.

Производство икон переходило к машинам. Заработок иконописца падал все ниже. За сотню дешевых икон — «листоушек» — хозяин платил иконописцу 60—75 копеек. Чтобы не умереть с голоду, нужно было написать не менее двухсот маленьких икон в неделю.

Иконное дело в Мстере принимало размеры капиталистической промышленности. Из близлежащих сел — Ландеха, Холуя и Мугреева — в Мстеру возами доставлялись киоты и иконные доски. Капиталистическая техника мирно уживалась с патриархальными привычками купцов.

Все делалось по-семейному, по-старинке, с молитвой. Конторские книги клееночной фабрики каждый год начинала сама хозяйка, писавшая на первой странице:

«Господи, благослови! П. Козлова».

С этим молитвенным воззванием книга шла в фабричную контору или, может быть, к мастеру, писавшему штрафы.

А штрафовали на клееночной так:

I. За прогул

За половину дня . . . . . 25 коп.
За один день . . . . . 50 коп.

II. За нарушение порядка

За опоздание свыше 10 минут . . . . . 15 коп.
За отход от работы без дела . . . . . 15 коп.
За самовольный выход из фабрики . . . . . 25 коп.
За спанье или дреманье за работой . . . . . 15 коп.
За сиденье и шалости во время работы . . . . . 25 коп.
За оскорбление лиц фабр. управления . . . . . 50 коп.
За чтение книг и газет . . . . . 25 коп.
и т. д.

Помнят в Мстере привольную купеческую жизнь. От дорогой одежды, роскошной мебели, редкой посуды ломились дома и палатки. На масленице щеголяли купцы чистокровными рысаками, воздушными, изящными санками. В великий пост устраивали гусиные бои. Сводили двух отборных трени-

рованных гусаков, бились об заклад: который выйдет из боя победителем? Когда бойцы утомлялись, к ним для поддержания бранного пыла подпускали гусыню, и ее голос вливал в сражавшихся новые силы. На пасхе гусиные турниры сменялись картежной игрой. По трое суток под ряд, без сна и отдыха, могли играть и пить мстерские хозяева.

Забавлялись и иначе.

Ходили по Мстере два дурачка: Силантьич и Иван. Подучали их лавочники пачкать дегтем платья проходящих девушек. Дурак брал мазницу, подбегал к ничего не подозревавшей франтихе и брызгал на нее дегтем:

— Окропляется раба божия...

Девица бранилась, плакала. Торгаши, выглядывая из своих лавок, хохотали.

КУПЦЫ

— Вон в этом доме на пригорке жил мучник Панкратов,— сказал Александр Федорович Котягин.

Хозяином двухэтажного белого дома, на который показывал Котягин, был теперь Отдел народного образования.

В закоптевшей от свечек и лампад моленной двухэтажного панкратовского дома, за ее кованой дверью, стоят шкафы школьной библиотеки.

Скуп был купец Панкратов. Держал лошадь и корову. В базарные дни выгонял их за ворота, на площадь, где валялись клочья сена: пусть едят, свой корм целее будет.

— Да, вот как наживались капиталы,— усмехнулся Александр Федорович.

— Помню и я Панкратова,— сказал часовщик, сосед Александра Федоровича.— Висели у него в доме огромные часы, чуть ли не петровских времен. Приносит панкратовская кухарка Марья эти часы моему отцу (сам я в то время был еще мальчишкой). Валится отцу в ноги. Отец смущается:

— Что ты, Марья? Встань!

— Не встану. Почини часы...

— Починю. Как же не починить? Людям чиню, и вам сделаю.

— Да нам бы бесплатно.

— Неужто хозяин-то твой не заплатит?

— Да ведь знаешь, какой он у нас.

— Ладно, оставь часы.

Марья уходит. Часы остаются у нас в мастерской. Отец говорит мне:

— Минька, займись часами. Что получишь с Панкратова — себе возьмешь.

Я занялся. Починил. Иду с часами к Панкратову. Вхожу в дом. Хозяин сидит за столом. Острижен в скобку. Борода лопатой. Длинная рубаха, нанковые штаны. Меня будто и не видит. Проходит минута, другая. Я кашляю. Панкратов взглядывает на меня:

— Тебе чего?

— Вот часы принес, Митрий Андреич.

— Ладно, положь на стол.

Положил. Стою. Панкратов опять будто не замечает меня. Кашляю. Панкратов вскидывает голову:

— А ты еще тут? Ну, чего тебе?

— Деньги получить.

— Какие деньги?

— За часы.

— Сколько тебе?

Собравшись с духом, говорю:

— Пятьдесят копеек.

(А с людей за такую же починку брали семьдесят.)

Панкратов вскакивает, кричит сердито:

— Ах ты, разбойник! Пятьдесят копеек! Креста на вас нет. Вот я тебя!..

Он — за мной. Я — от него.

Дня через три прихожу опять.

— Чего тебе?

— Деньги за починку.

— Сколько?

— Сорок копеек.

— Ну, ладно. Идем в лавку. Заплачу товаром.

В лавке дает мне кусок мыла,— цена ему в то время была две копейки.

— Вот тебе покуда. А то еще придешь.

В следующий раз получил я восьмушку чаю. Сходил еще раза два, забрал товару копеек на двадцать пять, да и плюнул:

— Подавись ты моими деньгами!..

Гуляя, мы шли мимо большого фруктового сада, которым прежде владел земский начальник Протасьев, а теперь — колхоз. Горько благоухала омытая дождем листва. В теплом сумеречном воздухе ныли комары. По словам моих спутников, Протасьев ходил в сюртуке, но штаны носил нанковые. В этом он был настоящим мстерцем.

Скупость мстерских богачей доходила до того, что они надевали брюки только в торжественных случаях, отправляясь в церковь или в гости, и считали эту часть костюма стеснительной роскошью.

Однажды мучник Шорин в парадном сюртуке и брюках сидел у богатого иконника Крестьянинова, тоже нарядившегося для дорогого гостя. Пили чай. Вдруг погасло электричество. Когда оно зажглось снова, купцы посмотрели друг на друга и расхохотались. Аккуратно расправленные брюки висели на спинках стульев. Крестьянинов сидел в нанковых подштанниках. Синие волосатые ноги Шорина были голы.

— Ну, Осип Федорыч,— сказал Крестьянинов гостю,— за тобой не угоняешься. Я бережлив, а ты еще бережливее меня... И на кальсонах экономишь!..

Наша дорога проходила как раз мимо дома, в котором, если верить молве, происходило описанное анекдотическое событие. Огромный, красиво отделанный дом Крестьянинова стал в революцию рабочим клубом. Теперь художники хотели сделать его Домом социалистической культуры.

Мы стояли под навесом торговых рядов, там, где когда-то торговали Шорины и Панкратовы. Небо затянулось облаками. Накрапывал дождь. В сумерках вспыхивали синие отсветы дальней грозы.

Котягин говорил, показывая рукой вперед:

— Видите в конце площади, за трибуной, белый дом? Тоже купеческий. Хозяин его был недалекого ума человек. Он не умом — другим брал: умел здороваться. Раскланивался он, как артист на сцене. Если увидит, бывало, знакомого, то снимает свой купеческий картуз шагов за пять. Руку с картузом отнесет как можно дальше и обведет ее вокруг себя вот так...— Александр Федорович нагнулся и вычертил в мглистом воздухе полукруг.— А лицо — деревянное, без улыбки. Так и видать, что старик кланяется не ради того, чтобы других почтить, а чтобы собой полюбоваться и прослыть уважительным человеком...

С закатом солнца площадь старой Мстеры будто вымирала. Накрепко запирались ворота обступивших ее купеческих домов-крепостей. На окованных железом дверях магазинов повисали пудовые замки. Хозяева, покончив с делами, торопливо ужинали и заваливались в душные пуховики. Купеческие сынки лезли в окошки на улицу, наказав прислуге:

— Ты, Василий, не запирай окно на ночь...

По дворам на цепях прыгали свирепые псы.

ОФЕНИ

Кроме иконописи население мстерского края промышляло офенством — продажей в развозку и в разноску книжек, лубочных картинок, галантерейной мелочи и особенно икон. Мелкие офени, ходившие с коробом дешевого своего товара за плечами по селам и деревням, назывались еще ходебами или коробейниками.

Семьдесят с лишком лет назад по одной из ведущих в Мстеру дорог ехал поэт Некрасов. Его «Коробейники» могли быть написаны и о здешних ходебах.

Офени-коробейники теперь работают в колхозах.

Ходебы мстерского края коробейничали от малоземелья. Запасшись товаром, ходеба с коробом на плечах шел по селам и деревням. В коробе лежали мануфактура, галантерея, парфюмерия. Тут были «ситцы и парча», пояски и «ленты алые для кос».

...Есть у нас мыла пахучие
По две гривны за кусок,
Есть румяна нелинючие —
Молодись за пятачок.

Видишь, камни самоцветные
В перстеньке, как жар, горят.
Есть и любчики заветные —
Хоть кого приворожат.

Икон в коробе не было. Икону распространяли более крупные офени, торговавшие в развозку.

Офенство находилось в тесной связи с развитием в Мстере иконописного промысла. Крупные офени развозили мстерскую икону по всем уголкам России. Как только устанавливался санный путь, офеня, увязав воз с товарами, отправлялся в дорогу. Обыкновенно выезжали вдвоем: хозяин и работник с лошадью. Ехали снежными полями, седыми лесами, от деревни до деревни, от города до города. Ни вьюги, ни морозы не останавливали торгашей. Иные офени забирались очень

далеко: в Сибирь, на Кавказ, в Туркестан, а были и такие, что, перебравшись через границу, разъезжали по Сербии, Болгарии, Румынии.

Торговля велась не только на деньги. Офени выменивали книжки и иконы на лен, холст, хлеб, мед, сушеные грибы, сено, дрова. На офенском промысле богатели не офени-ходебщики, а небольшая кучка оптовых торговцев, у которых ходеба забирал товар часто в кредит или под залог разных вещей. Эта кучка держала в кабале всю офенскую мелкоту.

У офеней был свой искусственный, «кантюжный», «аламанский» язык — загадка для историков и лингвистов. Оказывается, русские коробейники, сами о том не подозревая, употребляли в разговоре много греческих слов.

Греческие слова в говоре офеней смешались с переиначенными русскими, а то и вовсе вымышленными. Двое офеней при чужих, где-нибудь на постоялом дворе, разговаривали между собою так:

— Попà кимàть... Полумѐркоть...

— Да, рыхлò закурѐщат ворохàны.

Это значило:

— Пора спать... Полночь...

— Да, скоро запоют петухи.

Офени, торговавшие иконами в развозку, распродав их, на обратном пути накупали товаров, которые было выгодно продавать дома.

Самым прибыльным товаром были старинные иконы.

Среди пыльного хлама, с незапамятных времен лежавшего где-нибудь в темном углу сельской колокольни, попадались древние образа большой художественной ценности. Офени скупали их за бесценок. В Мстере старина стоила дорого. На старине можно было хорошо заработать.

Появились специалисты по добыванию старины — офени-старинщики.

СТАРИНЩИКИ

Мстерские купцы были старой веры. Держали связь со всем старообрядческим миром. Миллионеры-старообрядцы Савва Морозов, нижегородский мукомол Бугров и другие платили за старинную икону бешеные деньги.

Работавшая на старообрядцев Мстера стала всероссийским рынком древних икон. Офени-старинщики возами доставляли их сюда из Архангельской, Вологодской, Новгородской губерний.

Иконники-реставраторы перекупали у офеней старину и уже от себя, с барышом, продавали ее староверским воротилам. Иконники, поджидая офеней-старинщиков, ставили на дороге заставы. Зачастую встречали старинщиков у вагонов, чтобы купить товар без конкуренции. Сплошь и рядом покупали чохом целый воз из-за одной-двух ценных икон. И этими двумя иконами оправдывали все расходы.

Московский иконник, Григорий Чириков, о котором мы упоминали раньше, был родом из Мстеры. Нынешние художники хорошо помнят его плотную, несколько искривленную фигуру (у Чирикова была вырезана почка) и небольшие хитрые глаза.

Чириков хорошо знал старую живопись, сам не плохо владел кистью. В то же время он производил впечатление плутоватого подрядчика. О его проделках ходили анекдоты.

Звезда Григория Чирикова разгорелась особенно ярко в тот период, когда древняя икона получила признание как памятник русского народного искусства.

В 1910 году в Москве была устроена выставка русской иконы, очаровавшая весь художественный мир. Репродукции с памятников древней живописи начали появляться в дорогих журналах. Об иконе заговорили не только художники, но и всевозможные

«мистики, эстеты,
Богоискатели, девицы и поэты».

Древняя икона двинулась в музеи и в художественные собрания частных коллекционеров. Она сделалась таким товаром,

на операциях с которым ловкие дельцы наживали сказочные барыши.

Возможность легкого обогащения кружила головы. Поиски старины по российским захолустьям, скупка и перепродажа древних икон, подделывание их,— вся эта лихорадочная погоня за быстрой наживой вовлекла в свой поток сотни людей. Тут смешались лица всяких званий: титулованный маклер, бородатый старовер, купец-антиквар. И впереди многих очутился Григорий Чириков. Его мастерская сделалась фабрикой имитаций.

Чириков поставлял старину даже к царскому двору. Посредником между двором и иконописным миром был князь Ширинский-Шихматов. Рассказывают, что около трехсот икон доставил князь семейству Романовых из мастерской Чирикова и других источников как «древность», и все они оказались подделками.

Древность и подлинность икон узнавали по разным признакам. По письму. Но так как живопись можно было виртуозно подделать, то, покупая икону, глядели и на ее оклад, и на поля. Главным же образом распознавали возраст иконы по доске,— по ее «затыли», то есть задней стороне. Смотрели на шпонки, на ковчежец — углубление с задвижкой в затыли доски. В старину столяр долбил доску долотом, не зная другого инструмента.

Для того чтобы с первого взгляда определить, что — древность, а что — подделка, нужно было иметь чутье и опыт.

Василий Никифорович Овчинников одно время работал в реставрационной мастерской московского антиквара Шибанова. Считался знатоком старой иконы.

Антиквар Шибанов верил в нюх Василия Никифоровича. Посылал его к офеням-старинщикам для закупки товара.

Василий Никифорович садился на поезд и ехал в Мстеру. Случалось так, что вместе с ним с поезда сходили другие перекупщики старины. Василий Никифорович скорее нанимал подводу и наказывал кучеру:

— Гони как можно шибче. На чай получишь.

Кучер гнал.

Конкуренты старались опередить Овчинникова. Начиналась дикая скачка. Мелькали кусты, деревья. Тарантас дребезжал и подскакивал, бока лошади покрывались потом.

Тут Василий Никифорович пускался на хитрость. Он сворачивал с большой дороги в деревню Рыкино, откуда взята Анна Тимофеевна, и ехал в Мстеру другим путем. Преследователи, видя, что соперник свернул в сторону, успокаивались и ехали не торопясь. Овчинников попадал в Мстеру первым, сразу шел к старинщику и закупал иконы.

— Те приедут, ан все уж запродано, им ничего не осталось,— вспоминает Василий Никифорович.

— А то бывали и неудачи. Работал я у другого хозяина, Дикарева. Был у него взрослый сын Михал Михалыч. Отец думал сделать из него себе помощника, посылал по разным поручениям, доверял деньги. А доверять, пожалуй, и не надо бы. Этот Михал Михалыч любил покутить и частенько являлся домой в таком виде: на голове цилиндр, а рожа — в синяках, одна нога в штиблете, другая — в калоше. Летит, бывало, на автомобиле — обязательно то на столб наскочит, то врежется в забор,— такой закачура.

Вот Дикарев дает ему три тысячи денег и говорит:

— Отправляйся, Миша, с Никифорычем в Троице-Сергиевскую лавру. Едет в Москву мстерский старинщик Козлов с хорошим товаром, надо его перехватить. Мы с Чириковым, Григорием Осипычем, деньжонок собрали на закупку козловского товара, так вы уж не подкачайте.

— Слушаю, папаша,— говорит Михал Михалыч.

А сам, как только мы слезли с поезда, покупает бутылку рябиновой, вышибает пробку и пьет прямо из горлышка. Половину выпил, подает бутылку мне:

— Пей!

— Не хочу.

— Пей, а то голову бутылкой разобью!

Ну, и пошло. В лавре идем в «блинную»,— это ресторан монастырский,— там и вино, и закуска, и мамзели в шляпках, даром что обитель. Тут Михал Михалыч нашился так, что без задних ног свалился в гостинице. А мне надо и за ним приглядывать — следить, чтобы не пропали хозяйские деньги, и старинщика ловить. Михал Михалыч кутит, пьет, а я каждый день выхожу на станцию к поездам, пробегаю по вагонам, Козлова не вижу. Бегаю, гляжу, а в голове забота страшная: не случилось ли чего с хозяйским сыном, цела ли казна? И что же? Ведь пропустили старинщика. Проехал мимо и продал товар другим. Правда, потом оказалось, что товар неважный, так что, может, все вышло к лучшему...

Бывало и так, что старинщик сам уведомлял с дороги хозяина-антиквара, когда и на каком поезде приедет. Хозяин высылал к поезду своего доверенного по закупке икон. Выходил из вагона старинщик. Волосы под картузом острижены постароверски, в скобку. Борода — веником. Сборчатая поддевка. Смазные сапоги с калошами. Старинщик здоровался с хозяйским доверенным и вручал ему конверт. Доверенный понимающе клал конверт в карман. Хрустели в конверте кредитки. Хозяйский доверенный и приезжий шли под вокзальные паль-

мы. Старинщик заказывал угощение. Угощаясь, говорили о разном. Обо всем, кроме дела. Деловой разговор начинался много позднее,— обычно на другой день. Перебирали привезенный товар. Обтирая иконы, доверенный старался и хозяину услужить и старинщика не обидеть.

— У Шибанова Пал Петровича,— рассказывает Василий Никифорович,— по закупке икон работал его шурин Елисей Силин, а мы, мастера, промеж себя звали его: Елеся. Работал он из процентов.

Этот Елеся был вроде как из дворян. Были у него барские какие-то замашки. Прошьет полтинник, а на чай половому дает десятку. В Москве у него была собственная квартира, в ней жила жена. Сам Елеся на квартиру почти не заглядывал, и когда приезжал в Москву, то останавливался больше в гостиницах.

Старину он частенько добывал нечестно. Увидит где-нибудь в захолустной церкви древнюю икону. Едет в Москву, дает нам заказ:

— Напишите мне архангела в новгородском стиле пятнадцатого века: лик обращен туда-то, положение рук такое-то, тут вот пятно от сырости...

Словом, расскажет подробно, где, как и что...

Мы пишем. Елеся берет нашу икону и отправляется с ней в путь. Вступит в сделку с церковным старостой, либо со сторожем. Новую икону ставят на место старой, а старая достается Елесе.

А подделывали старину очень тонко. Один раз Елеся приносит в мастерскую древнюю икону, говорит:

— Сделайте копию.

Сделали. Стоят на столе две иконы: одна привозная, другая — нашей работы.

Вот зовет Елеся Шибанова, хозяина:

— Узнай, какая старая-то?

Шибанов поглядел-поглядел, да и указал на поддельную:

— Эта.

— Ну и врешь. Вот гляди, какие у тебя мастера-то, как могут работать!

Мастера были хорошей заучки. Случалось так: на доске от старой живописи остались только пятна,— вот ее и отреставрируй. Реставрировали, и так ловко, что не узнаешь, где старая живопись, а что приписано вновь.

Понятно, все это делалось тайно, чтобы, кроме хозяина да мастера, никто ничего не знал. Когда подделывалась икона, Шибанов запирал мастера в конторе на ключ.

Помню, так-то пришлось мне, запертому, ночью писать

Илью-пророка. Илью полагалось изображать в колеснице с двумя колесами и при шести конях. А на той иконе, которую мне дали, было только одно колесо да четыре коня, все прочее слупилось от времени и сырости. За ночь я прибавил еще двух коней и другое колесо. Пал Петрович был доволен.

Елеся старался с нами, мастерами, ладить. Экспертами-то, оценщиками икон, кто был? Мы. А Елесе было интересно, чтобы хозяин взял побольше икон его привоза.

Вот, бывало, сидим мы в мастерской, расчищаем Елесин товар, чтобы узнать, какая икона старинная, а какая только написана под старинку. И сам хозяин тоже сидит возле нас, ждет результатов. Спрашивает:

— Можно посмотреть?

Скажешь:

— Подождите, Пал Петрович.

— Долго?

— Нет, не особенно.

— Ладно, подожду, чтобы не портить общего впечатления...

Расчистишь побольше и видишь, что икона, действительно, ценная — новгородского или там строгановского, что ли, письма. Говоришь хозяину:

— Теперь, Пал Петрович, можно смотреть.

Зажмурится, растопырит руки, идет по мастерской ощупью, как слепой.

— Ну, где?

— Здесь, Пал Петрович, вот здесь...

Раскроет глаза.

— Эта? Хороша, очень хороша... Ладно, ставь ее, Никифорыч.

Ставишь расчищенную икону в ряд других старинных, назначенных к продаже.

У Шибанова жила в экономках вдова Катеринушка, из себя видная, полная. Она была допущена хозяином до кассы и до всего прочего. Он с ней всем делился. Когда попадется хорошая икона, кричит, бывало:

— Катеринушка, иди сюда! Посмотри, какая прелесть!

Стоят над иконой, любуются, радуются.

Очень выгодны были хозяину старые иконы. Помню, продали Савве Морозову пять небольших иконок по двадцать пять тысяч за штуку. Целый капитал!..

Мстерский воротила Крестьянинов вместе со всеми покупал и перепродавал старину. Принес ему какой-то человек семивершковую, темную от лампадной копоти икону. Человек купил ее у деревенской старухи в Архангельской губернии.

Заплатил пятачок. Крестьянинов дал за икону десять рублей: письмо было настоящее новгородское. Человек ушел довольный.

Крестьянинов оповестил старообрядческих миллионщиков: «Есть редкая икона...»

Приехал из Нижнего Бугров.

— Ну, Василий Семеныч, показывай свой товар.

Вынес Крестьянинов икону и показал гостю с затыли:

— Глядите.

Посмотрел мукомол, помолчал.

— Теперь покажи с лица.

— Лицо покажу, когда в другой раз приедете.

— Думаешь, приеду еще раз?

— Уверен.

— Увидим...

После Бугрова смотрел икону Рябушинский. Приценялся. Дорога показалась ему икона: двадцать тысяч назначил за нее Крестьянинов.

И еще раз приехал Бугров.

— Ну, кажи лицо, Василий Семеныч.

Опять вынес Крестьянинов икону. Показал теперь и с лица. Сразу оценил Бугров товар. Однако начал торговаться:

— Несуразную цену просишь, Василий Семеныч. Сам-то за сколько купил?

— Врать не стану: купил за красненькую, а с вас желаю взять двадцать тысяч.

— Скинь!

Уперся Крестьянинов.

Отдал Бугров деньги. И вот встала пятачковая икона архангельской старухи в золотой иконостас потайной купеческой моленной, за железные двери с тяжкими затворами.

А Крестьянинов, заплативший за икону красненькую, положил в карман ровно девятнадцать тысяч девятьсот девяносто рублей барыша.

Так рассказывают в Мстере.

Купцы покупали и продавали. Но настоящими владельцами древнего художества оказались не Крестьяниновы, не Бугровы, а те, кто расчищал творения старых мастеров, реставрировал, изучал их: нынешние народные живописцы.

ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ

В садах поспевали яблоки: густозеленые, желто-розовые, бордовые в коричневых родинках и веснушках. И наш прохладный дом наполнился медовым яблочным духом.

В комнату неслышно вошел босыми ногами темноглазый, с выгоревшими волосами Шурик Антоновский. Белая ситцевая рубашка оттеняла его загорелое лицо и почти черные, загрубелые коленки. Шурик нес клеенчатую, распираемую яблоками сумку. В свободной его руке была зажата записка отца.

Художник Антоновский писал о том, что «в честь глубокой признательности» посылает своим друзьям «благодарные дары красавицы природы» — плоды своего сада. И приглашал всех к себе на уху.

Вечером в домике на Комсомольской, бывшей Оганькиной горе, собрались Брягин, Модоров, Овчинников, Бороздин и другие мстерцы. В комнате Антоновского стало тесно, нехватало стульев. Комната безногого художника ожила и повеселела.

Вечер наступил холодный и темный. Засветили лампу. Затопили лежанку, ту самую, на плите которой чуть не сжегся, закрывая трубу, Федор Васильевич.

Пока варилась уха, Федор Васильевич играл на гармошке. Встряхивая своей львиной головой, читал из тетрадки о мастерах Мстеры:

Тяжел был путь их от иконы —
Казанской, Спаса,— но они
Его прошли и всей артелью
Вступили в творческие дни.

А больно, жутко даже вспомнить,
Что приходилось видеть мне,—
Как спину гнули на хозяев,
Губя себя, свой дар в вине.

Теперь не то. Старик наш Клыков
Стал как художник знаменит.
В произведениях прекрасных
Он отражает новый быт.

Восьмой десяток лет трудится,
Водя он кисточку рукой,

И так работает чудесно,
Что позавидует любой.

А Брягин, мастер бесподобный
По гамме радостных тонов,—
Он пишет кисточкой искусной
То теплый юг, то «Сбор плодов».

За ним Овчинников Василий
Колхозный прославляет труд,
Как в пойме сено убирают,
Как на возы его кладут.

Котягин каждого пленяет
Своею красочной игрой.
Он любит сказки и былины,
Колхозный сад, пчелиный рой.

Серебряков — преподаватель,
Он кадры юные кует
И новое искусство Мстеры
Ученикам передает...

Сварилась уха. Сидели вокруг выдвинутого на середину комнаты стола. От тарелок поднимался кудрявый пар. На столе появилась бутылка легкого вина. Наполнив рюмки и стаканы, Федор Васильевич своим металлически звенящим голосом крикнул:

— Я предлагаю всем выпить за искусство Мстеры!

— Можно,— бодро откликнулся Овчинников,— за это можно выпить: дело любезное, а не подневольное.

Выпили.

Этот маленький пир художников ничем не походил на то мрачное пьянство иконописцев, о котором упомянул в своем стихе Антоновский.

Александр Иванович Брягин, широкогрудый, в белой рубашке, заложив пальцы рук за узкий поясок, стоял возле черного окна. Его лицо тонуло в полумраке. Брягин сказал:

— Вспомнился мне сейчас наш бывший хозяин Гурьянов. Невзрачный был мужичонка, а какой злой! Пришел раз к нам в мастерскую один палешанин, говорит: «Мне бы хозяина увидать». Гурьянов встал с места: «Я хозяин. Чего тее?» (Он всегда говорил не «тебе», а «тее».) Палешанин взглянул на него, долговязого, тощего, и не поверил: «Полно смеяться-то!» Гурьянов рассердился: «Что же, батенька мой, уж не пачпорт ли тее показать?» Мигнул: «Ну-ка, Иван!..» Подошел Иван, здоровенный детина (ему бы только вышибалой быть), взял палешанина за плечи, повернул лицом к двери, толкнул — и загремел палешанин с лестницы...

Александр Иванович своим рассказом как будто дорожку показал другим для разговора. Все наперебой начали вспоми-

нать московских и мстерских хозяев, у которых пришлось работать, иконописный быт, мастеров, учеников, разные случаи.

— А Шитов,— начал Василий Никифорович Овчинников,— это был идиот из идиотов по всему мстерскому району... Я шесть лет у него работал... Мастер был, слов нет, а самодур. Жену свою Дусю бил почем зря, на мороз выгонял в одной рубашке...

И еще рассказал Василий Никифорович о том, как один из молодых мастеров, прогуляв ночь, днем все подремывал над работой. Голова поникала, ресницы слипались, кисть в руке останавливалась. Спать было нельзя. Рядом с мастерами сидел сам хозяин Шитов, писал икону и в то же время следил, работают ли другие. Василий Никифорович для таких случаев приготовил палку с иглой на конце. Как только гуляка начинал клевать носом, Василий Никифорович, не вставая с места, незаметно для хозяина протягивал руку и колол товарища иглой. Тот просыпался. Кисть начинала двигаться. Через минуту снова застывала. Шитов подозрительно глядел сквозь очки на гуляку:

— Михайло, а Михайло!

Василий Никифорович незаметно протягивал руку к палке. Уколотый Михайло вздергивал голову, очумело мигал глазами.

— Михайло!

— Что, Василь Осипыч?

— Ты спишь, бесов сын?

— Нет, Василь Осипыч, вам показалось.

— Показалось?— неуверенно говорил Шитов, разглядывая измятое лицо Михайлы.— Ты, Мишка, бес. Что-то ты долго сидишь над Предтечей.

— Стараюсь, Василь Осипыч...

Так дело и кончалось...

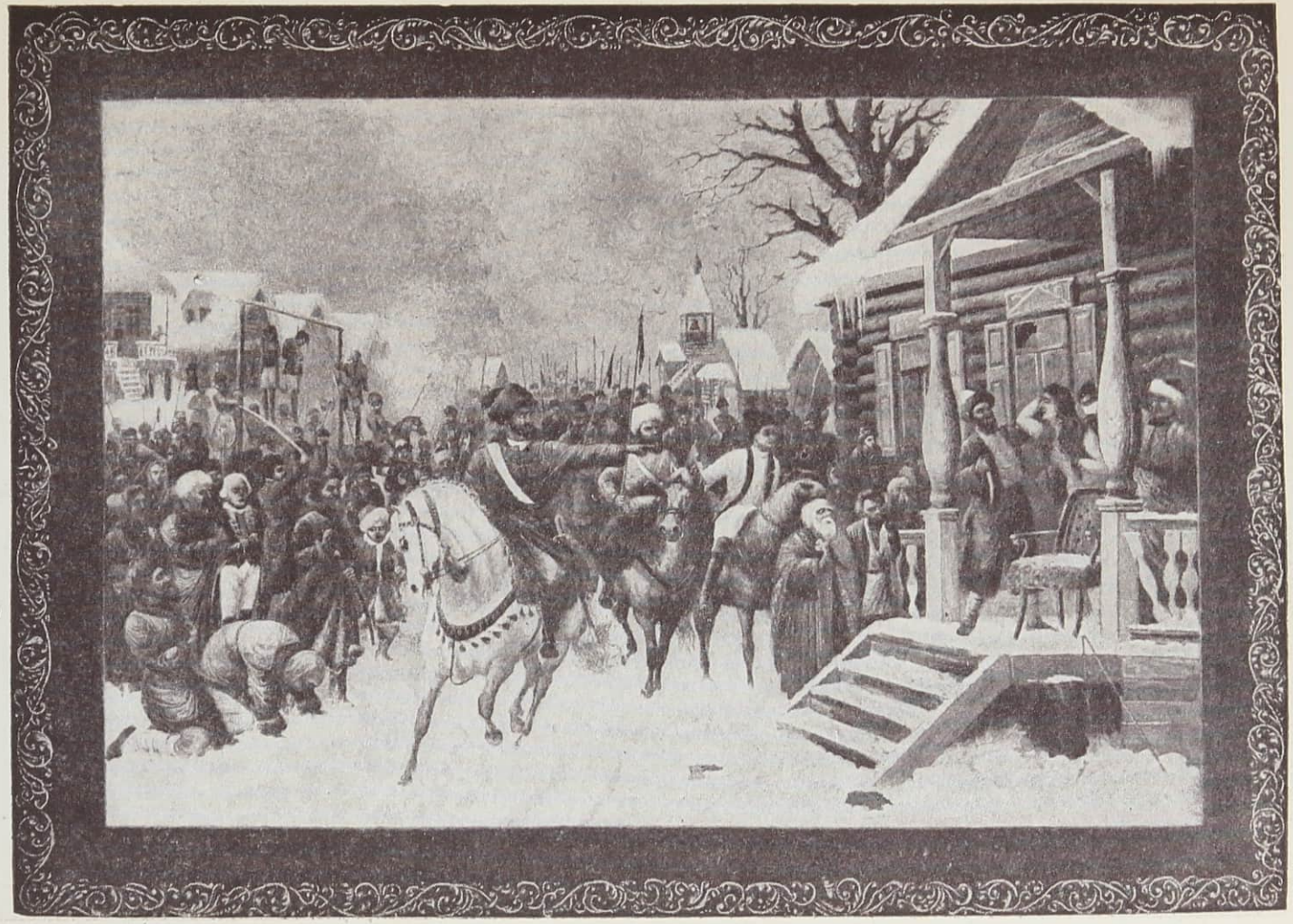
Говорили о Гурьянове, о других иконниках. Как они таскали учеников за волосы, как через своих шпионов и доносчиков следили за тем, что делалось в мастерской.

— А помнишь, Федя, гурьяновскую сестру Груню?— спросил Антоновского Модоров, держа в руке закушенное яблоко.

— Это, которая в замочную скважину подглядывала?

— Та самая.

— Еще бы не помнить,— сказал Антоновский.— Мы один раз какую штуку с ней устроили? Надоело нам ее подглядывание. Решили отучить старуху от шпионства. Приготовили соломину. Слышим, крадется по коридору к мастерской, присела, дышит за дверью. А в это время у двери притаился



КРАСНОВ М. Ф.

Капитанская дочка

СТАРКОВ Н. С.

Кларнет и рожок

КРАСНОВ. М. Ф. *Хлебосдача*

ШИЛОВ Ф. Г.

На покосе

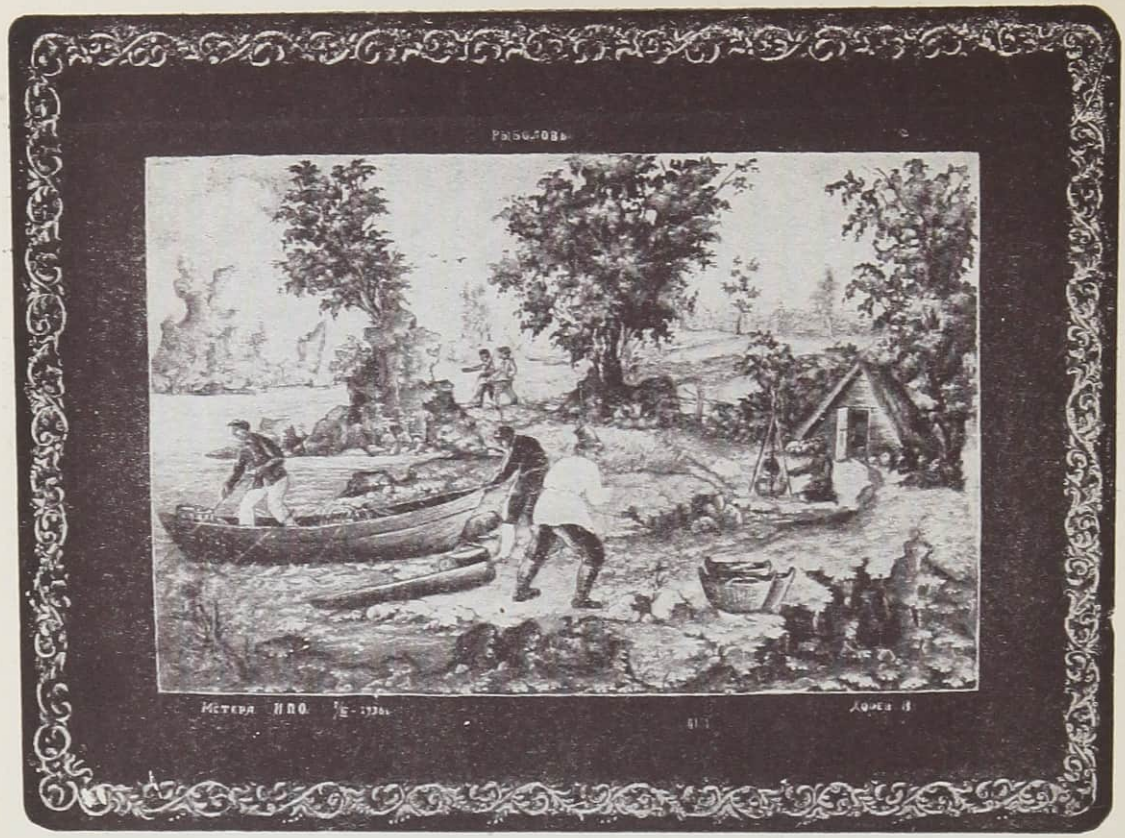
ШЕПУРОВ К. Е. *Руслан и Людмила*

ГРОМОВ А. И.

Илья Муромец

ГОРЕВ С. А.

Военная учеба молодежи



ХОРЕВ В. И. *Рыболовы*

БЕЛОВА П. Ф. *Русалка*

с соломиной наготове кто-то из мальчишек-учеников. Как только она приставила к дыре свой желтый глаз, он ка-ак ткнет соломиной!..

Рассказал Федор Васильевич и другое: как события пятого года озарили его сознание. Ходил с такими же, как сам, на массовки. Раз толпа разбила на Петровке оружейный магазин. Антоновский из окна передавал публике оружие. И себе взял револьвер. Налетели казаки. Все побежали прятаться по дворам. И он бежал с другими, ощупывая в кармане сталь револьвера и жалея, что не успел зарядить... А с хозяином Гурьяновым разговаривал зуб-за-зуб. И когда схлынула революционная волна, выбросил его поставщик двора из мастерской с волчьим билетом...

— Ну, да и ему в революцию пришлось не сладко...

Глаза Федора Васильевича блестели. Оживились и все. За воспоминаниями время летело незаметно.

Было поздно, когда гости начали прощаться с хозяином. Светя спичками, спускались с высокого крыльца. И сразу из освещенной, жаркой, полной звуков комнаты попали в черную, прохладную ночь, в такой непроницаемый мрак, что его хотелось раздвинуть руками.

Освещенное, яркожелтое окно комнаты, в которой мы только что были, как будто висело в плотной черноте ночи. Вдруг из него показалась голова Антоновского, высунулось его туловище. Федор Васильевич протянул во мрак сверкнувшую белизной тарелку с румяными яблоками.

— Возьмите на дорожку!— крикнул он своим звенящепевучим голосом.

И снова Федор Васильевич, свесившись с подоконника, пожимал руки гостей.

— Приходите опять!.. Обязательно!

ИКОННИКИ

Было иконописно-босяцкое дно: мастерские «Каторга» Митюхи Ханихина и «Вольное поселение» Сосина.

На «Каторгу» шли опустившиеся, спившиеся от нужды и тяжелого труда люди. Работали здесь за гроши. Не помесячно, а поденно.

Заработок тотчас же пропивался.

«Каторга» помещалась в ветхой, вросшей в землю избе. Это было мрачное логово, что-то вроде преисподней, какой изображали ее иконописцы в церковных притворах. И недаром ходили по Мстере слухи, что в мастерской Ханихина черти живут, что по ней сами ходят кринки и летают молотки. С пьяных глаз и не то еще могло померещиться работавшим на «Каторге» растерзанным людям, с опухшими лицами и сиплыми, шопотными голосами.

В мастерской пахло тухлыми яйцами, олифой, махорочным дымом и винным перегаром.

В маленькие, почти на земле лежавшие окошки с трудом пробивался свет дня, обнажая грязь, копоть, лохмотья, освещая лиловые носы, мутные, воспаленные глаза, всклокоченные волосы. Под низко нависшим потолком «Каторги» тесно сидели в три ряда люди в фартуках из мешковины и опорках: столяры, чеканщики, грунтовщики, иконописцы.

Мастерская Сосина немногим отличалась от ханихинской. Она была предпоследней ступенькой лестницы. И если в царской России осужденные, отбыв каторгу, выходили на поселение, то в Мстере было наоборот. Кто поступал к Сосину, того ждала «Каторга» Ханихина. Конечно, здесь не могло быть и речи об искусстве. Иконный товар Ханихина и Сосина вполне подходил под пословицу: «Не годится молиться — пригодится горшки покрывать».

Василий Никифорович Овчинников, Александр Федорович Котягин и Николай Прокофьевич Клыков работали в мастерской Шитова. Григорий Тимофеевич Дмитриев — у Мумрикова.

В этих мастерских писалась дорогая, стильная икона. Здесь блюлись традиции древней живописи. В скрещении старых стилей здесь вырабатывался свой, самостоятельный иконописный стиль, элементы которого позднее вошли в мстерскую миниатюру.

Иконник Мумриков хорошо знал рынок и его запросы. Шитов сам писал иконы. Был хорошим мастером. Спрашивал хорошей работы и с других. Когда икона ему не нравилась, заставлял иконописца переделывать ее. За переделку приходилось доплачивать, но взыскательность строгого мастера пересиливала в Шитове хозяйскую скупость.

Мастерская Шитова была своеобразной школой, из которой выходили умелые мастера, знакомые со стилями и с техникой реставрации.

— Мы там получали заучку и мастерское воспитание,— вспоминает один из живописцев шитовской школы, член художественной артели.

Но и в Шитове прорывались повадки хозяина-самодура.

Кончив работу, мастера прислоняли недописанные доски к стене и уходили домой. Иконы, по обычаю, ставились к стене живописью, а затылью были обращены внутрь комнаты. Как-то раз Шитов, взяв одну икону, увидал, что богородица стояла вниз головой. Будучи набожным, он усмотрел в этом кощунство:

— Ах, бесов сын, Федька! Божью матерь вверх ногами поставил. Самого бы его так-то!.. Да, самого бы так!

Эта мысль понравилась Шитову.

— А что, ребята,— обратился он к собиравшимся расходиться мастерам,— поставим Федьку вверх ногами?

Охотники услужить хозяину нашлись.

Наутро, едва Федька успел войти в мастерскую, как был схвачен и поставлен головой на пол, ногами — к потолку.

— Что, хорошо так-то стоять?— укоризненно говорил Шитов, разглядывая побагровевшее лицо Федьки, которого держали за ноги.— Вот и божья матерь так же стояла... Ну, пустите его, ребята. Хватит с него.

Был Шитов недалек разумом. В нем уживались самые противоположные свойства: болезненная подозрительность и детская доверчивость.

Разглядывая в очки поцарапанную икону, он строго спрашивал мастера:

— Это что такое?

— Это, Василь Осипыч, тараканы повредили... Двухвосток тоже много развелось..

— Тараканы... двухвостки,— задумчиво говорил Шитов,— надо будет мору достать.

А подозрителен он был необычайно. Жил назаперти. Всего боялся. Нелюдимый и взбалмошный, он зачастую не пускал в свой двухэтажный дом даже родных. Гнал их палкой, доской, чем попало.

Через руки Шитова проходило много старины.

Низенький толстый человек с седой головой, служивший до революции у московского антиквара, рассказал:

— Получили мы от Шитова письмо: «Есть старинный образ «Нерукотворного спаса» и другие иконы,— приезжайте смотреть». Еду я во Мстеру с наказом хозяина закупить шитовскую старину. Приехал рано утром, еще затемно, и сразу пошел к Шитову. В мастерской уж был свет,— значит, работали. Постучался. Спрашивают через дверь: «Кто? По какому делу?» Объяснил. Не впускают. Ушел ни с чем. Через час присылает Шитов за мной мальчика. Иду за мальчиком прямо на второй этаж, в хозяйское помещенье. Начинаем с Шитовым смотреть иконы. Я отобрал несколько штук, упаковал. С иконами собирался поехать в Москву и сам Шитов для разговора с моим хозяином. Все шло как следует. И вдруг дернула меня нелегкая спросить про цену: «А почем, мол, все-таки, иконы будут?» Шитов сразу закапризничал. Говорит жене: «Дуся, они меня в Москве ограбят, не поеду». Долго мне пришлось его уговаривать. Насилу уломал. Сели на извозчика, тронулись. Только тут я вздохнул свободно: «Врешь, теперь не вернешься...»

Миниатюра прочно и надолго объединила живописцев Мстеры в артельной мастерской. Икона сталкивала их то у одного, то у другого хозяина.

Много лет назад Котягин, Клыков и Модоров,— еще не художники, а только иконописных дел мастера,— встретились в Москве, в мастерской своего земляка Дикарева.

В сравнении с другими хозяевами Дикарев был небогат. Сам он, как и Шитов, работал наряду с мастерами. Плохо написанных икон из своей мастерской не выпускал. Как и Шитов, требовал, чтобы икона была сделана «мастеровито».

— Ты... того,— говорил он живописцу, тыкая пальцем в икону,— пробелец-то где положил?

Вообще выражался он невразумительно. Разговаривал больше жестами, чем словами.

— Ты сделай не так, а вот этак...

Пальцем рисовал в воздухе мудреную завитушку.

— Ну, сам понимаешь, как... А то у тебя это не того...

Даже такому опытному мастеру, как Клыков-отец, Дикарев говаривал:

— Прокофьич, счисти все. Напиши сызнова.

Мастер начинал работу снова. Материального ущерба он при этом не терпел, так как Дикарев платил своим работникам помесячно, независимо от количества сделанных вещей. Кроме жалованья мастера получали от хозяина харчи.

Вообще Дикарев считался одним из «добрых» иконников. Но и этому «доброму» человеку жаль было расставаться с деньгами.

Иконописцы знали: если Дикарев, расхаживая по мастерской, напевает свою любимую: «Во субботу день ненастный», то это значит: дачки не будет. Спрашивали хозяина:

— Как, Михал Иваныч, насчет деньжат?

— Плохо, ребятушки, плохо... нету денег,— разводил руками Дикарев и уходил к себе.

Через некоторое время кто-нибудь из мастеров шел к хозяину.

— Ты что?— спрашивал Дикарев.

— Деньжонок бы, Михал Иваныч. Прямо дозарезу нужны.

— Ну, сколько тебе?

— Целковых бы пятнадцать, Михал Иваныч.

— Ты того,— говорил Дикарев мастеру,— больно много просишь. Ну да ладно. Только ты не того... не говори в мастерской, что деньги получил. Михайла, сосчитай ему.

Сын Михаил, заменявший Дикареву бухгалтера и кассира, выдавал иконописцу деньги. Тот шел в мастерскую. Товарищи спрашивали:

— Ну что, получил?

— Получил.

Через минуту в дикаревскую квартиру входил другой мастер.

— Тебе чего?

— Деньжат, Михал Иваныч.

Разговор опять кончался выдачей денег и напутствием:

— Только не сказывай другим.

До вечера вся мастерская успевала побывать у Дикарева. Каждый уходил с деньгами и наказом:

— Только, чтобы никто не знал, что я того... тебе выдал.

Чтобы пересчитать тех хозяев, которые относились к иконописцам по-человечески, пальцев на одной руке окажется, пожалуй, много. В этом коротком перечне должна быть названа и фамилия Богатенко, у которого работали мстерцы.

Он был типичным представителем той демократически

настроенной части буржуазии, которой коснулись веяния пятого года. Работавший у него Брягин сообщает в своей автобиографии:

«Нужно отдать справедливость, что этот Богатенко считался одним из лучших хозяев. Набирая мастеров, он не издевался, как другие, и в 1905 году, когда я находился у него, он не препятствовал нам быть участниками в восстании и ходить на митинги».

Богатенко завел для своих мастеров библиотеку, выписывал газеты. Он знал музыку, занимался археологией, любил древние иконы. Годами хранил те работы своих мастеров, которые находил особенно художественными. Говорил:

— Это же музейные вещи.

Кроме икон Богатенко собирал... замки и самовары.

— Другие копят марки, редкие гравюры, а меня интересуют редкие замки.

Это была, вероятно, единственная в мире коллекция. Замки были от самых сложных до простейших. От чемоданных, маленьких, до тех пудовых калачей, которые можно увидеть на дверях церквей и амбаров. Самовары — самых разных форм, возрастов, размеров. Самовары — великаны. Самовары — карлики. Медные, серебряные, инкелированные. Вазами, шарами. По ним можно было изучать эволюцию самоварного дела за десятки лет.

Совсем иным был переселившийся из Мстеры в Москву иконник Гурьянов, придворный поставщик. Он не копил замков и самоваров. Копил деньги.

За высокий рост, подчеркнутый жесткой худобой, Гурьянова прозвали: Вася-потолок. На маленьком его лице светились злые глаза змеи. Дети плакали от гурьяновского взгляда. Мастера говорили о глазах хозяина:

— Посмотрит на теленка — теленок сдохнет.

Гурьянов был одним из тех хозяев-самодуров, которые требовали от мастера беспрекословного повиновения:

— Ты свое хорошее при себе оставь, а мое плохое делай,— говорилось мастеру.— Песком, да солить!..

Гурьянов бдительно следил за поведением мастеров и учеников, живших в каморках при мастерской. Ночью, как привидение, крался проверять, все ли дома.

Однажды, делая ночной обход, увидал, что от окна к постели, на которой спал ученик Ванька-старовер, протянута веревочка. Она была привязана к Ванькиной худой руке. Со-

седняя постель пустовала. Проведенная на улицу веревочка должна была помочь загулявшему соседу разбудить Ваньку, чтобы мальчик впустил его в комнату.

Сообразив все это, Гурьянов рассвирепел:

— Мерзавец!

Сдернув за волосы сонного Ваньку с постели, жестоко отколотил его. Колотя, кричал:

— Вот я отцу нашшу! Пущай и он тее вложит...

Рука у Гурьянова была тяжелая. Это довелось узнать не одному Ваньке-староверу. Бил Гурьянов и других учеников. Попадало от него и взрослым, женатым мастерам. Особенно часто доставалось Ивану Большому. Гурьянов любил запускать свои цепкие костлявые пальцы в стоявшие копной волосы Ивана.

— За что таскаете, Василь Павлыч?—жалобно кричал Иван.

— За волосы,—отвечал Вася-потолок, пригибая голову Ивана то к правому, то к левому плечу.—За волосы таскаю тея, дурака.

Звание придворного поставщика располагало Гурьянова к патриотическим чувствам. Был он ярко выраженным монархистом. Его жена родила девочку. Гурьянов хлопотал о разрешении записать в метрическую книгу крестным дочери самого царя. Получив разрешение, хвалился перед знакомыми:

— Моя Зойка—царская крестница, батенька. Да!..

Мастерам позволялось читать только черносотенные «Московские ведомости». Резкого на язык Антоновского иконник выгнал с волчьим паспортом. Других, наоборот, старался закрепостить годовым контрактом, особенно талантливых, на которых можно было нажиться.

Работал в гурьяновской мастерской паренек из Рязанской губернии Миша Кирсанов, бывший подпасок. Случилось ему, расписывая церковь, обратить на себя внимание Васнецова. Художник нашел у Миши большие способности. Предложил учиться. Поступить в художественное училище Миша согласился с радостью. Задержка была только за паспортом, который находился у Гурьянова. Выдать паспорт иконник отказался наотрез:

— Не дам. Пущай работает у меня. По условию.

За Мишу застушились мастера. Уговаривали хозяина. Хлопотал сам Васнецов. Гурьянов твердил свое:

— Не дам пачпорта.

Васнецов оказался сильнее придворного поставщика. Миша Кирсанов ушел из мастерской. Гурьянов злился:

— Ху-дожник!

Но сделать ничего не мог.

Позднее подобная история случилась с Модоровым, тоже поступавшим в школу живописи. Модоров пришел к хозяину просить расчета. Гурьянову невыгодно было отпускать мастера.

— Я тее плохого не хочу, батенька мой, и скажу прямо: не дело ты затеял. Оставайся-ка у меня.

— Не могу, Василий Павлыч. Я все обдумал.

— Все ли?

— Все. Выдайте документ.

Выбросив на стол паспорт, Гурьянов с сердцем сказал:

— Все одно Репиным не будешь!

Модоров сделался художником. Через несколько лет случай свел его с Гурьяновым в поезде. Войдя в купе второго класса, Модоров встретился нос к носу с бывшим своим хозяином. Неприятный взгляд иконника переходил с ботинок Модорова на шляпу, с шляпы на лицо, на изящный галстук. Гурьянов как будто удивлялся: неужели это тот самый Федька, которого можно было и обругать и за волосы оттаскать?

Новая встреча придворного поставщика и бывшего иконописца произошла в другом мире и в другую эпоху.

В девятнадцатом году коллектив живописцев Мстеры устроил в родном селе художественно-промышленные мастерские. Дела было много. Иконописная мастерская, запах олифы, хозяйские подзатыльники — все это стало теперь страшно далеким, почти невероятным. И появившийся в Мстере Гурьянов выглядел дико: не живым человеком, а тенью прошлого.

Он пришел в школу, костлявый, грязный, в седых космах. У него не было ни капиталов, ни прежней власти. Он ничем не отличался от обыкновенного нищего, только глаза горели сдержанной ненавистью. Долговязый — настоящий Вася-потолок,— он, как складной аршин, вдруг сложился острыми углами и, загремев стоптанными сапогами, упал Модорову в ноги:

— Федор Александрыч, примите поработать!

Модоров смотрел на ползавшего по полу неряшливого старика. Ему вспомнилось, как этот человек вырывал волосы у подростков-учеников, как унижал пожилых, степенных мастеров. Жалости к Гурьянову художник не испытывал. Было только чувство омерзения.

Федор Александрович холодно сказал:

— Никакой работы здесь для вас не найдется.

— Хоть бы в библиотекари!

— Библиотекарь у нас есть.

Гурьянов встал.

— Значит не поможешь?

— Нет.

На мгновение в глазах иконника мелькнуло что-то прежнее.

Он крикнул:

— Старое-то добро, видно, забывается. Кто всем вам кусок хлеба давал, бывало? Вспомни! Э-эх, вы-ы!

И, горбясь, вышел на улицу.

Бывший придворный поставщик ходил по Мстере, костлявый, седой, страшный.

Умер он в мстерской больнице, как бродяга.

ПОЭТ И КУПЕЦ

Таисья Яковлевна прожила долгий век.

Нам казалось, что есть две Таисьи Яковлевны. Одну мы видели днем. Черная, как галка, в старушечьем платье, она бесшумно входила в нашу комнату поливать цветы или выгонять мух. Заколотый у подбородка черный платок торчал на лбу острым соском. С темножелтого лица устало смотрели большие мутно-черные глаза.

Другая Таисья Яковлевна появлялась по ночам. Вся в белом, с серебряными волосами, она скрипела половицами и охала. Спать ей не давали болезни и старость. Вздыхая, Таисья Яковлевна брела на нашу половину. Зажегши электричество, смотрела на стрелки больших стенных часов:

— Ночь-то какая долгая, господи Исусе!

Скудный желто-красный свет обливал плошки с цветами, мебель, картины и фотографии на стенах. Среди фотографий выделялись два увеличенных портрета в черных рамах. С одного важно смотрел мужчина средних лет и купеческого вида. Сквозь редкую бороду просвечивала крахмальная манишка с орденом на шее. На другом портрете хмурилась дородная женщина в старинном платье, с наколкой на волосах. Еще в первые дни нашего знакомства Таисья Яковлевна сказала нам о портретах:

— Это Иван Александрыч Голышев с супругой, мои благодетели. Я ведь жила у них в доме приемышем. Они меня и замуж-то выдали, и приданое собрали.

Таисья Яковлевна мельком взглядывала на портреты «благодетелей», гасила свет и, вздохнув, шла к себе. Но в глазах все стояли сохраненные фотографией черты, и Таисью Яковлевну охватывали воспоминания. Собирая приданое, хозяева предложили ей, невесте, на выбор три чайных ложки или пуховую подушку. Ложки лежали в красивом футляре и блестели серебром. Выбрала ложки: думала, что настоящие серебряные. После свадьбы из-под серебра выглянула желтая медь. Таисья Яковлевна укоризненно шептала в темноту:

— Эх, Иван Лександрыч!

И вздыхала.

И. А. Голышев был сыном того самого бурмистра, который угощал графа Панина за счет мстерских крестьян стерлядями и ананасами.

Бурмистр помимо своих административных дел занимался иконописью, выделкой мыла и помады и продажей дешевых книжек. Сына Ивана он отдал в ученье к московскому литографу.

Вернувшись из Москвы домой, Иван Голышев, в то время еще крепостной графа Панина, открыл литографию и в Мстере.

Печатал лубочные картинки. Пять ручных станков голышевской литографии выпускали до трех тысяч одноцветных картинок в день. Картинки раскрашивались ручным способом и шли в продажу.

Голышевских изданий нет в мстерском музее, но их сохранил Александр Федорович Котягин.

Сюжеты рисунков—сказочные или религиозные. Тут—Еруслан Лазаревич, Бова-королевич, Алексей-человек божий. Есть среди этих рисунков и раскрашенные от руки. Раскраска груба и сделана в один-два цвета. Рисунки раскрашивались женщинами, которые зарабатывали на этом гроши.

Кроме картинок Голышев печатал «Сонники» и «Гадательные тетради». Имел он книжную торговлю. На доходы от своих предприятий купил усадьбу и выстроил на ней двухэтажный дом. Этот дом стоит и сейчас. В начале семидесятых годов в доме Голышева побывал Некрасов, задумавший продвинуть в народ свои стихотворения. Голышев, постоянно соприкасавшийся с офенями, мог распространить некрасовские издания вместе со своими лубками.

Он и сам был не чужд литературным занятиям. Посылал в журналы краеведческие статьи. Его устный рассказ о приезде Некрасова записан народником-публицистом Пругавиным в таких выражениях:

«Летом 1861 года к нашему дому подъехала дорожная коляска, запряженная не то тройкой, не то четверкой лошадей. Из коляски вышел господин невысокого роста с бледным лицом и спросил: может ли он видеть Голышева? Я поспешил навстречу приехавшему и отрекомендовался ему.

Незнакомец оказался поэтом Некрасовым, слава о котором, разумеется, давно уже долетела до нас. Он объяснил, что едет в Петербург из своего имения и что нарочно заехал в Мстеру, чтобы узнать об офенях и о книжной торговле, которую они производят. Разумеется, я с полнейшей охотой предложил ему сообщить все интересовавшие его сведения.

Некрасов долго сидел у нас; подробно расспрашивал о книжной торговле офеней и ходебщиков; затем, напившись чаю, он попросил показать ему наш магазин. В магазине он внимательно просматривал народные книги и картины. При этом он сообщил мне о своем намерении заняться изданием для народа особых книжек, которые он предполагал составлять из своих стихотворений и распространять через офеней.

По моему совету, Некрасов решил, что брошюрки с его стихами будут продаваться в виде маленьких книжек, в формате обыкновенной лубочной листовки, в красной обложке и будут называться «Красными книжками».

Название «Красные книжки» вряд ли могло принадлежать оборотистому торгашу.

Как бы то ни было, первая некрасовская книжка для народа действительно вышла под этим названием и в красной обложке. В книжку вошла написанная Некрасовым вскоре после заезда в Мстеру поэма о ходебах «Коробейники».

Отправляя книжку Голышеву, поэт писал:

«Милостивый государь, посылаю Вам 1 500 экземпляров моих стихотворений, назначающихся для народа. На обороте каждой книжечки выставлена цена—3 копейки за экземпляр,— потому я желал бы, чтобы книжки не продавались дороже: чтобы из трех копеек одна поступала в Вашу пользу и две в пользу офеней (продавцев). Таким образом, книжка и выйдет в три копейки, не дороже. После пасхи я пришлю Вам еще другие, о которых мы тогда и поговорим».

Автора, который не только не требовал гонорара, но и не старался оправдать издательских расходов, Голышев встречал, вероятно, впервые. Дело было выгодное. Поэтому, распродав присланную книжку и не получая других, он решил напомнить о себе Некрасову письмом.

Поэт послал Голышеву вторую «Красную книжку» со своими стихами. Благодаря Некрасова за присыл, мстерский предприниматель в новом письме «осмеливался ожидать уведомления, по каковой цене продавать книжки разнощикам». Но уведомления не последовало.

Есть предположение, что Некрасов, писавший в это время первые главы поэмы «Кому на Руси жить хорошо», в изображении ярмарки села Кузьминского выразил свои далеко не веселые впечатления от знакомства с офенской Мстерой и Голышевым.

Пошли по лавкам страннички:
Любуются платочками,
Ивановскими ситцами...
Была тут также лавочка
С картинами и книгами:
Офени запасалися
Своим товаром в ней.

Хозяин лавки («с Лубянки первый вор») потчует офеней Блюхером, «Шутом Балакиревым» и «Английским милордом»,— товаром, в противовес которому Некрасов попытался пустить в широкий оборот свои «Красные книжки».

Легли в коробку книжечки,
Пошли гулять портретики
По царству всероссийскому,
Покамест не пристроятся
В крестьянской летней горенке
На невысокой стеночке,
Чорт знает для чего!

По мнению И. И. Власова, обследовавшего поездку поэта в Мстеру и его взаимоотношения с Голышевым, «всего вероятнее, что именно Голышев послужил прототипом того «купчика-выжиги», который, умело подлаживаясь к своим покупателям-коробейникам, сбывал им на сельской ярмарке привычный ассортимент лубочной макулатуры».

Голышев стал почти такой же невероятной стариной, как его «Английский милорд» или «Бова-королевич». О нем напоминают только фотография в доме Таисьи Яковлевны да еще название «Голышевка».

Гуляя под тенистыми березами Голышевки, мстерская молодежь едва ли думает о том, кто когда-то был хозяином этой зеленой рощи и двухэтажного серого дома.

ДВА ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

Жил в старой Мстере столяр Иван Анисимович Торговцев, родом из владимирских плотников. Имел он прекрасный талант: отлично делал по дереву тончайшую резьбу. Говорили про него в Мстере и по округе: «Золотые руки у дяди Ивана!»

Быстро набросает на бумаге рисунок: листья, виноградные гроздья, голубков. И вырежет, обточит. Все любовались искусной работой столяра Торговцева. Вытачивал двери к алтарям, иконостасы ажурной резьбы. Делал и бытовую мебель: подзеркальники, буфеты. Мог зарабатывать много. Но за деньгами не гнался. Брал за работу дешево. Случалось, что заказчик сам предлагал прибавку. Иван Анисимович отказывался:

— Не возьму. Плохо поминать будешь.

Была у него мечта: сделать машину «вечный ход».

Лет тридцать кряду изобретал мстерский столяр свое perpetuum mobile. Заработает денег на неделю и садится мастерить машину.

Жил он в нижнем этаже полукаменного дома. Квартиру загромождала пыльная неразбериха деревянных колес, колесиков, валиков — многочисленные модели «вечного хода».

Иван Анисимович думал о своей машине постоянно. Даже во сне. Встав среди ночи, зажигал лампу. Строгал, пилил, вытачивал. Утром приходили ученики. Качались у Ивана Анисимовича какие-то шары, ходили гири.

— Когда ты это, дядя Иван, сделал?

— Ночью. Не спалось, вот и занялся...

Умер Иван Анисимович Торговцев глубоким стариком, в нищете и одиночестве, через неделю после смерти жены. Сын Ивана Анисимовича, иконописец, погиб раньше, отравившись политурой. До сих пор вспоминают мстерские мастера Митю Торговцева. Был у него чудесный лирический тенор. Трактирщики за пение безденежно поили Митю водкой. Весь трактир затихал, когда певец, закрыв глаза, начинал свою любимую:

Эх ты, доля, моя доля,
Доля бедняка...

В темном царстве той жизни, хозяевами которой были Крестьяниновы и Панкратовы, талантливые простолюдины выбивались из-под гнета среды только при наличии особо счастливых условий. Таких условий не было в Мстере. Пустыми людьми, смешными сумасбродами казались мстерским купцам беспокойные, пытливые Кулигины-Торговцевы. В темном царстве старой Мстеры никто не заинтересовался изобретателем-самоучкой. Никто не объяснил ему фантастичность его затеи.

Под конец жизни Ивану Анисимовичу пришлось побираться. Больной, опухший, в лохмотьях, он просил под окнами милостыню.

Молодой артельный опиловщик Александр Яковлевич Кибирев учился столярному ремеслу у Торговцева.

Спокойные глаза Кибирева прозрачны, как лед. Крупные, загрубевшие от работы руки кормят большую семью.

Кибирев — тоже изобретатель. Но его занимает не идея «вечного хода». Он ставит себе более осуществимые задачи. Изобретения Кибирева растут из жизни, из того производства, в котором он работает.

Придумал новую форму пресс-папье. Поставил в опиловочном цехе маленькую круглую пилу — резать заготовки из папье-маше. Старается внести в процесс выделки полуфабриката новое, свое.

Когда мы вошли в опиловочный цех, Кибирев шлифовал сплюснутые, похожие на пуговицы, кружочки.

— Что это вы делаете?

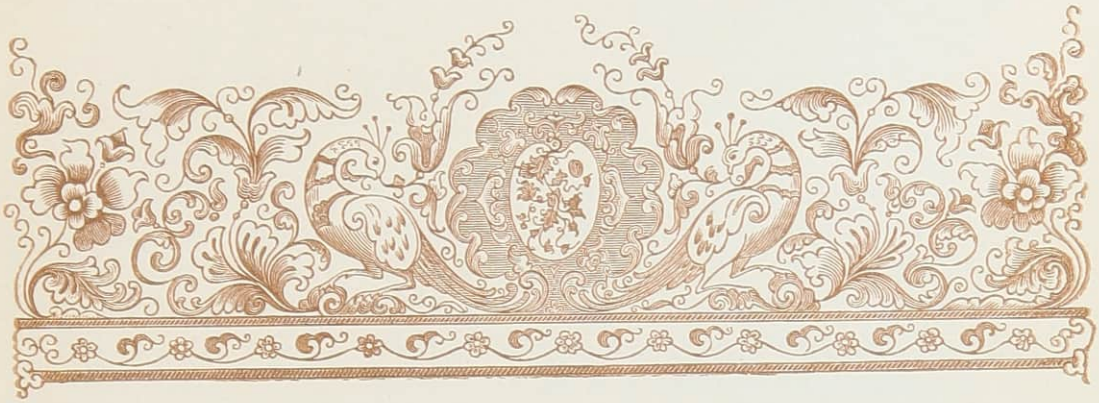
— Костяшки к счетам. Артель будет выпускать конторские счеты из папье-маше. Вот и сижу, пробую, что выйдет...

Завели разговор о Торговцеве.

— Замечательный был старичок,— сказал Александр Яковлевич.—Я у него два года работал. В то время было ему за семьдесят, а помер он чуть ли не девяноста лет. Мастер был своего дела. Его бы к нам, в опиловку...

Столяр Торговцев жил и умер талантливым одиночкой, в нужде, без поддержки и сочувствия.

Его ученик Кибирев живет и работает в другую эпоху. Он не один — с артелью. Несколько раз премировался. Артель ценит Кибирева. В цехе им гордятся. Новая Мстера бережет и поощряет своих даровитых мастеров.



Краски — радость

ГАЗЕТА ХУДОЖНИКОВ

ТАРШИЙ брат Николая Култышева, Александр, вывесил во дворе артели свежий номер стенгазеты «Художник миниатюры». Он в последний раз удовлетворенно окинул спокойными голубыми глазами пестрое газетное поле и пошел в мастерскую.

Гурьянов запрещал своим мастерам читать газеты. Нынешние мстерские живописцы сами пишут статьи и заметки и сами украшают их цветными заставками. Федор Васильевич Антоновский наполняет газету стихами.

На этот раз стихи в «Художнике» были такие:

Меж ложкарей, шерстобитов, сапожников,
Около боров и рек,
Выросло братство народных художников,
Словно весенний побег.

Мчится ли по полю вьюжная конница,
Блещут ли летние дни,—
Самозабвенно к столам своим клонятся
В комнатах светлых они.

В блюдцах разбитых растворено золото,
Разведено серебро,
В чашках игрушечных, в ложках расколотых
Краски играют пестро.

Тонкая кисть осторожно касается
Маленькой черной доски,
И по квадрату ее разбегаются
Волн, облаков завитки.

Борется с бурей корабль белопарусный,
Быстрые чайки летят.
Битва вздымается вьюгою яростной,
Копья и стрелы блестят.

Отдых колхозный с гуляньями, с плясками
И обиход трудовой —
Все здесь оденется свежими красками,
Будто березка — листвой!..

Александр Култышев — член редакционной коллегии и художник. Антоновский — рабкор и стихотворец. Овчинников и Евгений Юрин — депутаты поселкового совета. Брягин и Котягин входят в правление артели. В комнате для заседаний правления регулярно собирается партийная группа артельщиков. В красном уголке члены артели слушают лекции о живописи, занимаются политграмотой.

Повесив стенгазету, Култышев пошел в мастерскую, сел за стол и начал копировать миниатюру Брягина «Сказка о царе Салтане». Александру Михайловичу Култышеву нравилась в ней тонкость выполнения. Ему хотелось сделать так же.

Он вступил в артель позднее многих. На это были свои причины. Александру Култышеву после иконописной школы пришлось работать в мастерской мстерского хозяйчика Цепкова. Через эту мастерскую прошло немало мстерцев, в том числе и Александр Федорович Котягин. Вспоминая Цепкова, мастер пишет в своей автобиографии, что «вся цель этого хозяина была эксплоатировать подмастера полностью, не давая ему развиваться». Александр Култышев был благодарен революции, закрывшей мастерскую. Заболев у Цепкова отвращением к олифе, тухлым яйцам и всему, что связано с иконописью, он решил искать для себя нового дела.

В те годы, когда другие разрисовывали деревянную посуду и писали за хлеб портреты, Александр Михайлович подавал в Нижнем на паровоз дрова. Служил в Красной армии. Семь лет проработал на клееночной фабрике. Добился квалификации, заведывал набоечным цехом. Но успехи живописцев, их миниатюры раззадорили Култышева, заставили его почувствовать, что и он может стать художником. Перешел в артель. Александр Михайлович копирует чужие работы. Пишет и самостоятельные композиции. У него уже есть разноцветный «Хоровод» и «Сбор фруктов». А главное — стремление вырасти в такого же мастера своего дела, каким он был на клееночной.

КЛЕЕНКА И ПОЛОТНО

Село Мстера, так же как Палех и Хóлуй, входит в состав Ивановской промышленной области.

С давних пор в этом крае рядом с иконописью развивалось ткачество.

Какая связь между штукой миткаля и художественной миниатюрой? Связь есть.

В ивановском областном музее выставлены образцы старинных набоек. Ткань украшена крупными розами, расписана сценами из народного быта. Цветы и фигуры сделаны так реалистично, что теряется ощущение материи. Ткань становится фоном рисунка. Это почти панно,— те «коврики», какие писала Мстера.

Гете, интересовавшийся суздальским иконописным художеством, которым занимались в Палехе, Хóлуе и Мстере, утверждал, что цветы — это видоизмененные листья.

Ситцевый узор и миниатюра через искусство художественной набойки и через иконопись роднятся друг с другом, как листья и цветы одного стебля. Те и другие питаются соками одной почвы.

И не случайно художники Палеха работают над образцами текстильного рисунка, а мастера Мстеры помогают своей клееночной фабрике.

Александр Култышев на клееночной работал в набоечном отделении. Овчинников — в рисовальном.

Василий Никифорович развернул перед нами запыленные, покрытые жилками паутины листы:

— Мои рисунки для клеенки.

Пестрели сказочные цветы. Переплетались волнистые линии орнамента. Один из рисунков очень напоминал те вышивки крестиком, какие выходят из-под рук мстерских строчей.

В рисунке как будто встретились все три главные производства Мстеры: живописное, вышивальное и клееночное. Кисть живописца перенесла узор вышивальщицы с полотна на клеенку, и клеенка через живопись породнилась с полотном.

Скатерти из клеенки, подстаканники, дорожки наряду с полотняными вышивками можно встретить в каждом доме Мстеры.

Клееночная фабрика имени Дзержинского окружена яблоновыми садами, лугами, водой. Ее высокая труба поднялась над светлой Тарой, как первая, пока одинокая, сосна какого-то нового леса. В корпусах блестят сталью, потеют маслом сдержанно пульсирующие машины. Смешанный запах скипидара и вареного масла кажется непривычному человеку, попавшему в стены фабрики, слишком сильным. Здесь выделываются миллионы метров клеенки. Здесь, рядом с цветами лугов, распускаются на скатертях и дорожках цветы, нарисованные фабричными рисовальщиками.

В знойном колодце сушилки, уходя в глубину, висят узорчатые длинные ленты.

Директор, невысокий, плотный, с немолодым, но свежим лицом, с приветливыми и спокойными глазами, раньше был рядовым рабочим. Он знает производство до последней мелочи и, говоря о фабрике, напамять называет шести- и семизначные числа. Он перебирает сорта клеенки, которые вырабатываются на фабрике:

— Салфетная, мебельная, вагонная, половая, переплетная, фуражечная, мозаика...

Мстерская фабрика — одна из трех клееночных фабрик страны.

При Козловых рабочий день длился одиннадцать часов в сутки. Тех, кто успевал управиться с работой до свистка, управляющий посылал складывать дрова или чистить двор.

Так шло вплоть до семнадцатого года, когда рабочие приготовили для управляющего фабрикой тачку. Почуяв недоброе, управляющий заблаговременно скрылся.

Хозяева уехали на юг, откуда надвигалась черная туча контрреволюции. Но никто не мог помочь П. Козловой вернуть фабрику.

Рабочие переделали клееночную по-своему. Поставили в корпусах новые машины, устроили вентиляцию. О старых порядках и хозяевах теперь напоминают только бухгалтерские книги с колонками пожелтевших цифр и строкой на первой странице:

«Господи, благослови! П. Козлова».

Кисть Василия Никифоровича Овчинникова перенесла на клеенку узор с полотна, расшитого, может быть, его младшей дочерью, высокой и тонкой, как молодая березка,— Музой.

Вся женская Мстера шьет, вышивает, вяжет. Почти в каждом доме белыми голубями взлетают над пяльцами руки. А на улице под окнами сидят маленькие девочки с вязальными крючками в руках и плетут кружева.

Рукоделием Мстера славилась издавна.

Если для мужского населения основным трудом была иконопись, то таким же привычным занятием мстерянок были вышивка и строчка. Шили и вышивали на продажу. Труд мастерицы часто становился художественным творчеством. Рисунок придумывали сами. В зимний день переводили на полотно морозные узоры с заиндевевшего окна. Техника вышивки отличалась поразительной чистотой и ювелирной тонкостью отделки.

Когда в первые годы революции иконописцы остались без работы, женский труд стал для Мстеры основным. Женщины вышивали, а мужчины занимались домашним хозяйством и огородничеством.

Женщины работали на частников-спекулянтов, сбывавших вышивки в Москве на Сухаревке. От притеснений частника мастериц избавила артель.

По утрам далеко разносится низкий гудок клееночной фабрики. По этому гудку начинает свой трудовой день и строчевая фабрика имени Крупской. Фабрика стоит на берегу Мстерки, прячась в густых зеленых зарослях. Каждое утро среди тенистых берез и черемух идут к фабричным воротам строчеи.

Каждое утро спешила на фабрику и дочь нашей хозяйки Марья Александровна Кирикова, легкая, сухая, в темном платье и белом платочке.

Она — настоящая художница иглы, одна из лучших среди тысячи трехсот вышивальщиц, объединенных артелью. Вводит в производство свои рисунки. Премируется за них. На фабрике она руководит бригадой молодых мастериц.

Мастерские помещаются в огромных, залитых светом залах первого и второго этажей фабрики. В окнах — широкие луговые дали, синие перелески.

В мастерских людно. За пяльцами, за натянутыми на них тканями, сидят юные и пожилые работницы. Всюду — легкие белые платья вышивальщиц, склоненные над работой головы в платочках и повязках, в гладких прическах, в локонах, в кудрях. Всюду — полукружия опущенных ресниц, блеск полотна и батиста.

Среди других можно увидеть и Марью Александровну, ее белый платочек и бледное лицо с черными глазами. Ее проворные, как белые мыши, руки легко прикасаются к ткани,

и на белой глади полотна появляется красивый ажур или разноцветная вышивка. Игла в руках искусной мастерицы часто не уступает кисточке миниатюриста, а шелк цветных ниток начинает звучать, как краски расписной коробочки.

Терпению и трудолюбию Марьи Александровны можно было удивляться. Придя к вечеру с фабрики, она проворно прибирала комнаты, поливала цветы и снова садилась за пяльцы.

В августе строчеи справляли свой праздник.

В артельных мастерских, заставленных табуретками и станками для пяльцев, было пусто и гулко. Работницы собрались внизу, в красном уголке, где стояли застланные белыми скатертями столы. Артельщицы раскладывали на столах обеденные приборы. Готовился пир.

На этом женском празднике была и Марья Александровна. Она сидела за столом, принарядившаяся, помолодевшая.

Все строчеи надели в этот день платья и кофточки, вышитые их руками. Общим своим трудом строчеи не только вышили вороха тканей,— они создали эту фабрику с ее мастерскими, с машинами для стирки и отжимки, с залом, в котором сейчас происходил обед. Украшая полотно и батист, они сделали красивой и свою жизнь.

Артель «Пролетарское искусство», строчевая фабрика имени Крупской и клееночная имени Дзержинского — это целый художественно-промышленный комбинат.

Здесь нужно упомянуть еще столярную артель и небольшой завод «Металлоштамп», выпускающий медные подстаканники.

Мстерский комбинат мог бы пополниться и еще одним производством. В кустарно-историческом музее хранятся металлические блюда, ковши, ларцы изящной и тонкой чеканки. Чеканщик Кулаков, сделавший эти вещи, грунтует заготовки в артели художников.

Собрать и объединить старых чеканщиков — благодарная задача. И, может быть, недалеко время, когда в Мстере появится еще одна артель — мастеров чеканки по металлу.

Чапаев.
мстера мухина

ХУДОЖНИК МАЗИН

С запада к Мстере подошло село Татарово-Барское. В конце села, на краю сбегающего к светлой Мстерке оврага, стоит трехоконный с белыми наличниками домик. На задворках зеленеют яблони. За их темной листвой по вечерам алеют зори. С крыльца видно, как светится под горой речной плес, как стелются за рекой луга, как взбираются по косогорам и холмам перелески.

В доме живет художник Константин Иванович Мазин, старый учитель мстерцев, преподававший им рисование.

Полным замыслов и молодых сил приехал Константин Иванович в Мстеру — и Мстера привязала его к себе широкими далями, реками, любовью. Он стал мстерцем. Жил в обыкновенной избе, среди яблонь и луковых гряд, как аист на кочке. Уезжал из Мстеры и снова, как аист, возвращался на старое место. Обучал молодую Мстеру своему искусству. Радовался, встречая способных. Незаметно вошел в преддверие старости. Стукнуло Константину Ивановичу шестьдесят. И уже редко вспоминал он, что когда-то учился вместе с Кустодиевым и Горюшкиным-Сорокопудовым, что ради искусства проникал в сибирскую тайгу и, пожираемый мошкарой, переносил на холст ее пустынную красоту.

Теперь Мазин сам почти не писал. Считал себя годным только поправлять ученические рисунки. Но в ивановском союзе художников думали о Мазине иначе. И заказали ему для областной выставки две картины.

Мазин помолодел. Высокий, сутулый, с этюдным ящиком в длинных руках, ранней весной ходил на Мстерку, на Старицу. Искал красок для своих «Окрестностей Мстеры». Ловил на воде последние заревые отсветы. Туман поднимался от реки, занавешивал продрогшую рощу на том берегу. Туман и черную воду у берега тоже надо было схватить, закрепить на холсте.

И — захворал Константин Иванович. Пришлось лечь в больницу. Тело тряс озноб. Очень возмущался Константин Иванович, когда врач назвал его болезнь малярией:

— Как? Я, природный астраханец, поддался ничтожному комару? Не может быть!

Однако диагноз оказался правильным.

Только в июле отпустили художника домой. Его качало от слабости, как одинокое дерево на ветру. Константин Иванович говорил навещавшим его людям:

— Черти меня понесли тогда на реку!

Высокий и легкий, он ерошил на небольшой своей голове клочья иссера-седых, с желтоватым отливом волос — и казался посетителям поздним одуванчиком на длинной тонкой ножке.

— Да, шарахнула меня эта проклятая малярия!

Слова у Константина Ивановича были свирепые, а под жесткими сероватыми усами дрожала добрая и нежная улыбка. А когда он вскидывал очки на лоб, то от серо-голубых глаз молодело худое лицо. Он принадлежал к породе тех людей, которые до старости сохраняют первоначальную свежесть души и радостно удивляются человеку, дереву, облаку.

И совсем уже не вязались с сердитыми словами висевшие на стенах картины. Пастелью, акварелью, маслом были написаны весенние, летние, зимние закаты, сине-розовые сугробы, алые плесы, деревья с озаренными вершинами. И жизнь художника шла к закату, но то молодое, что было в его глазах, во взгляде, говорило скорее о наступающем, чем об уходящем дне.

Мы пришли к Мазину в конце лета, когда подсохли травы и каплями запекшейся крови чернела среди них горьковато-сладкая земляника. Художник, сидя на крыльце, писал портрет снохи. Она была юная, темноглазая, в ярком сарафане. Такой вышла и на холсте, которому нехватало лишь двух-трех последних мазков. А от жены художника, от ее тонкого моложавого лица, веяло спокойной добротой и приветом. Что-то материнское было в ее обращении с Константином Ивановичем. В доме на столах лежали альбомы с рисунками. Пазы стен с вылезшей паклей были завешаны картинами. Нам хотелось посмотреть большую работу Мазина,— ту, которую он готовил к выставке.

— Она у меня в сарае,—сказал художник.—Я там малюю. Хотите — сходим.

И, вопросительно взглянув из-под очков сверху вниз, он повел нас на двор, в сарай. Едва сошли с крыльца, как набежавшая тучка посыпала крупным золотистым дождем, сквозь солнышко.

— Тут недалеко, добежим.

И Константин Иванович — большой ребенок,— согнувшись, побежал впереди, скользя длинными ногами по грязи, минуя лужи. Съежившись, мы бежали за ним меж яблонь, луковых

гряд, мимо клина пшеницы, мимо высоких черных елей, а сверху так и сыпались сверкавшие на солнце жемчужины. Они сыпались на нас и с круглых жестких листьев, когда мы задевали головами за отягченные светлозелеными плодами ветки. Мы вбежали в ворота сарая.

Из полумрака выступал большой холст: лиловая лужа, разбредшееся по лугу стадо, стога и вдали, в голубоватой дымке, в алых бликах вечера — дома, сады, колокольни Мстеры.

— Вот какую чертовщину наворочал...

А вернувшись в дом, смотрели написанную Константином Ивановичем миниатюру. На крышке лакированной шкатулки масляными красками был нарисован охотник, стреляющий с лодки в поднявшихся из камышей уток. Стиль живописи не походил на тот, который принят в артели. Это была уменьшенная во много раз станковая картина. Художник и сам понимал это.

— Проба кисти. Не смотрите...

Свои картины Константин Иванович написал. Вместе с миниатюрами мстерских мастеров они были отправлены на выставку. С картинами приехали в Иваново Мазины, и он и она — праздничные, чуть возбужденные. Константин Иванович радостно удивлялся всему, что видел в большом текстильном городе. Ходил на пленум художников и здесь, среди товарищей по кисти, совсем забыл о своих летах и болезнях. Минутами он казался седым юношей.

Мазины не хотели больше возвращаться в трехоконный домик над оврагом. Константин Иванович сказал в союзе художников:

— Хватит с меня торчать в щели. Я совсем мохом оброс.

Сдвинул очки на лоб. Серо-голубыми глазами взглянул на секретаря союза:

— Я хочу на-люди, работать хочу. Перетаскивайте меня в город...

И остался в Иванове старый учитель Мстеры с нестареющей любовью к жизни.

В ЛУГАХ

Покос образцовой школе был отведен на Великой Луке, по Клязьме.

Под предводительством Василия Никифоровича мы отправились на Великую Луку за поспевшей смородиной.

В выцветшем небе плавали воздушные, словно взбитый белок, облачка. Изредка навстречу дышало печной сухостью. И со всех сторон шел немолчный треск кузнечиков, тот однообразный звук тысячи маленьких будильников, которого почти не замечаешь, а прекратись он,— ухо сразу поразила бы непривычная тишина.

Василия Никифоровича и жара не брала. Размахивая руками, он шагал впереди всех, неутомимый и легкий. Сквозь коричневую блузу со сборками проступали лопатки его спины.

Прямая, тонкая шея цветом почти не отличалась от блузы. На голове была синяя панама.

За нами с гуденьем гнались слепни. Широкая луговая дорога с клочьями оброненного сена стлалась среди мелкой, иссохшей травы. Впереди ехали две колхозных подводы. Колеса телег простучали по мостику и снова покатились колеями.

Перейдя пыльный мостик — несколько темных, прыгающих под ногами бревен,— мы подняли с травы черный ситцевый кисет с табаком. Мы все старались догнать колхозников, чтобы отдать им находку, но лошади двигались быстрее нас, а потом свернули с дороги в сторону и пропали в лугах.

Трава пошла выше, зеленее. Начали попадаться кусты ивняка. Дорога раздвоилась. Василий Никифорович ковшичком приложил ко рту ладони и крикнул:

— Гей! Гей!

Где-то справа ответили. Мы двинулись по кустам, по лужайкам с сочной травой и вдруг попали на полянку, в табор косцов.

Около телеги, к которой была привязана распряженная лошадь, дымился костер. У огня полулежал директор школы Николай Никифорович Овчинников, в белой рубашке и выгоревшей, как у брата, панаме. Рядом, на охапке травы, сидела

его жена Наташа. Голубоглазая, с золотистыми бровями, с пухлыми губами на белом, слегка только обожженном солнцем лице, в белом чепце и пестром сарафане, она была похожа на молодую голландку со старинной картины. Маленькая девочка и два карапуза — дети директора — играли в застланной свежим сеном телеге.

Николай Никифорович подбросил в огонь зеленых веток. Плотный дым повалил от костра.

— Весь день с комарами воюем. Совсем заели. Дымком спасаемся.

Николай Никифорович был совсем другой, чем в школе или дома: размашистый, шумный. Панама сдвинута на затылок, осыпанная травой рубашка прилипла к потному телу.

За кустами раздавался говор. Где-то аукались.

— Ученики сено ворочают,— сказал Николай Никифорович, ломая ветки.

Мы искали по кустам смородину.

В песчаных промоинах обнаженные корни ивняка торчали, как чьи-то судорожно скрюченные, когтистые пальцы. Крупные, ярко разрисованные осы дрожали в воздухе. В траве попадалась исчерна-красная земляника. Смородины было мало: ее оборвали косцы.

Вышли к Клязьме, к шалашам, в которых ночевала ватага Николая Никифоровича. Сейчас и высокий берег, на котором мы стояли, и широкая прохладная река — все дышало тишиной и покоем. Маленькие серебристые рыбешки там и здесь выпрыгивали из воды и тотчас же падали обратно. Синие со слюдяными крыльями «коромысла» вились над осокой у берега.

Река, шалаши, возы с сеном в стороне — все это сейчас, в присутствии Василия Никифоровича, было полно для нас особенного значения.

Мы вспомнили крупную работу Овчинникова «Колхоз на покосе». Она хранилась вместе с миниатюрами других мастеров в комнате правления. Не раз мы любовались переливами ее сочных, свежих красок.

На большой пластине были написаны навитые сеном возы, косцы, мальчик верхом на лошади, костер в кустах на берегу реки. Сколько было в этом нарисованном мире наивной прелести и очарования! Сейчас пред нами была «натура», с которой писал Василий Никифорович. Эта «натура» сливалась с композицией художника так же, как голос певца сливается с аккомпанементом музыканта.

А неутомимый Василий Никифорович звал дальше. Вел обритыми лощинками. Обрезанные косой стебли ломко хрустели

под ногами. Спустились в заросший кустами овраг. Василий Никифорович развел ветки в стороны.

Солнце осветило темную квадратную дыру — вход в землянку.

— Тут, бывало, дезертиры прятались. Вот видите, и в пойме можно скрываться, как в лесу.

Землянку, шалаши, пойму, Старицу с ее островами Василий Никифорович показывал почти так же, как свои рисунки. Он гордился привольной красотой этих мест, любил их запахи, звуки, краски. Здесь были рассыпаны десятки его «Сенокосов», «Уборок урожая», «Бурлаков на отдыхе».

Старица — это старое русло Клязьмы.

Глушью, тайной веяло от сонной воды, от камышей у берега, от густого леса, черневшего на той стороне. Дурманно и сладко пахло болотными цветами.

— Уток тут в камышах много,— говорил Василий Никифорович.— А вон там, видите, осока шевелится? Правее, правее глядите! видите?

— Видим.

— Это щука идет. Тут их строгой строгают.

Сильно ударило по воде, словно кто-то бревно швырнул в Старицу.

— Вот так нырнула!— прошептал Василий Никифорович. И замолчал. Запоминающе глядел на зеленые острова, на лес, опрокинутый в реке. Будто впитывал в себя оттенки цветов, звуки, запахи.

И на обратном пути он все приглядывался к забелевшим в низинах туманам, оборачивался к вечерней заре, прислушивался к голосам лугов.

У дороги трещала косилка. Косец крикнул:

— Граждане, нет ли покурить?

Мы вспомнили о найденном кисете.

— Не знаете ли, чей?

— Да это мой! Вот спасибо. Теперь и работать можно. А то беда без курева.

Колхозники огораживали пряслом стог. На все уже легла тень, и только верхушка стога была позолочена заходившим солнцем. Аромат свежего сена стал еще крепче, пьянее, чем днем. Врач мстерской больницы с женой шли с покоса,— оба босые, с косами и граблями на плечах. По реке и лугам гулко раскатывались выстрелы. С пригорка, на который мы поднялись, были отчетливо видны маленькие фигурки охотников, огни, сверкавшие из ружей, утки, летевшие на заревом небе.

Подходили к селу. Вдруг среди тишины грянул совсем близкий выстрел. Тонко провизжала пуля.

Навстречу нам, от Мстеры, бежал человек с сумкой. Он кричал:

— Чуть-чуть не убили. Пошел домой, а попал было на тот свет. Из мелкокалиберной винтовки садят, дьяволы! Я тебе покажу, как в народ стрелять!..

Последние слова не могли относиться к нам. Мы оглянулись. Из сумерек приближались две фигуры — высокая и пониже,— вторая с ружьем за плечами.

— Пойдем в сельсовет!— распаляясь, кричал стрелку человек с сумкой.— Пуля твоя у меня мимо самого уха пролетела.

— Какая пуля?

— Такая! Не видишь спьяну, куда палишь?

— Ты, что ли, мне подносил?— засуетился стрелок.— Не имеешь права оскорблять.

Его спутник молчал, спокойно и широко шагая по дороге.

— Пойдем в сельсовет!— настаивал человек с сумкой.

— Да пойдем, пойдем,— отвечал стрелок не совсем уверенно.

Спорившие свернули на мост через Мстерку.

— Отберут у него ружье,— сказал Василий Никифорович.— И правильно. Таких неосторожных учить надо. Долго ли до беды?

И без видимой связи с предыдущим вдруг прибавил:

— Хороши деньки для сенокоса стоят! И завтра красный день будет. Закат был чистый...

А кругом кто-то без конца заводил множество карманных часов,— так звонко тянули свою нескончаемую песню кузнечики; квакали и журчали лягушки, и духовой оркестр общественного сада звучал из теплой мглы маршем веселых ребят.

ЗАЧИНАТЕЛИ И ПРОДОЛЖАТЕЛИ

В августе вернулись из отпуска Котягин и другие мастера.

Александр Федорович сел за свой стол, положил пред собой пластину из папье-маше. Плечи его грузной фигуры глыбой нависли над столом. Рука, опираясь на поставец, водила кистью по белому четырехугольнику будущей картины. Александр Федорович работал над «Героикой».

И Василий Никифорович, надев очки с тесемкой, принялся писать свой «Праздник урожая».

Оба мастера, как и Брягин, начали рисовать сверху, с левого уголка картины: с голубых небес и светлозеленых далей. Медленно уступали белила краскам.

А на брягинской пластине белые пятна, как застрявший в весенних низинах последний снежок, теперь лежали только местами. Но еще не нравилась Александру Ивановичу картина. Все было не то, что виделось бессонными ночами, в творческом жару. Нехватало и хороших пособий. Ленина пришлось рисовать со случайной фотографии.

Стояли жаркие дни. Краски на кисточках быстро сохли. Котягин говорил:

— Трудно летом работать. Мое любимое время — февраль, март, апрель, когда много солнца, но оно не жжет, не расслабляет.

День бил солнцем и звал на улицу. Но художник сидел за столом и рисовал своих альпинистов, наездников и водолазов.

А худощавый, светлоглазый, в русской вышитой рубашке Евгений Васильевич Юрин расписывал чернильные приборы. Он — старый член артели. Искусствоведы отмечают в его живописи «простоту, несложность сюжетных мотивов, скупость цвета и его непосредственность». Юрин рисовал на чернильных приборах «Сказку о рыбаке и рыбке» — старика с веслом в руке, старуху над разбитым корытом, золотую рыбку и синий океан.

Друг и сосед Николая Култышева, молодой мастер Николай Тимофеевич Гурьянов, начал миниатюру «Выпуск стенгазеты красноармейцами».

Гурьянов окончил иконописную школу и — не случись революции — мог бы попасть в мастерскую своего московского однофамильца, придворного поставщика икон. Он избежал этой невеселой участи. Вместо святых писал плакаты для ковровских рабочих клубов, ковры для артели. Теперь рисует миниатюры.

От ковров пошел и девятнадцатилетний Федя Шилов, круглолицый, с нежным пушком на щеках, живописец брягинской бригады, любимый ученик Александра Ивановича. Его родные работают в колхозе, товарищи учатся в артельной художественной школе. Школой Шилова была артель. Поступив в нее четырнадцатилетним подростком, он быстро постиг технику ковровой росписи и вместе с другими перешел на миниатюры.

Федя Шилов первый из молодежи сумел перенять мастерство старых живописцев. А через год, через два из артельной школы выйдут новые преемники старых художников Мстеры, продолжатели их искусства.

В работах учеников Краскова («Как закалялась сталь»), Старкова, Громова светится какая-то зорька — обещание дальнейшего роста. Здесь мелькнет неожиданный мазок, там в линиях почувствуется твердая рука будущего мастера.

СЛОВА И КРАСКИ

Не раз мы заставали Александра Ивановича Брягина за книгой. Он читал Лермонтова. На страницах желтели водяные подтеки, как будто Брягин, читая, орошал стихи слезами. Но дело обстояло проще и прозаичнее. Книга была подарком одного вязниковского журналиста. Тов. Никонов приехал в Мстеру под проливным дождем. Никонов промок до нитки, Лермонтов — до последней страницы. Александр Иванович высушил книгу, но следы дождя на ней остались.

— Бедны мы книгами,— говорит Брягин,— а ведь чтение наталкивает на новые темы.

Александр Федорович Котягин выписывает книги. В его домашней библиотеке теснятся томики Пушкина, Жуковского, Гаршина, Фета, Мея. Мастер следит и за современной литературой. Интересуется книгами по искусству.

Литературная тематика занимает в творчестве мстерских художников значительное место. У каждого из ведущих мастеров найдутся отклики в красках на прочитанное. Пишут Микулу Селяниновича (Н. Култышев), крымского разбойника Алима, Степана Разина, Емельяна Пугачева (Овчинников). Иллюстрируют Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, Чехова, Горького, Серафимовича.

Полвека с лишком назад жизнь свела иконописцев Мстеры с нижегородским подростком Алексеем Пешковым. Будущий писатель, ученик иконописной мастерской, растирал краски, а в свободное время читал товарищам по работе стихи русских поэтов. Огромное впечатление произвела на слушателей поэма Лермонтова «Демон». Лучший живописец мастерской личник Жихарев сказал тогда:

— Деймона я могу даже написать: телом черен и мохнат, крылья огненно-красные — суриком, а личико, ручки, ножки досиня белые, примерно, как снег в месячную ночь.

Жихарев чувствовал себя художником, но он должен был производить ремесленнические иконы. Его «Демон» остался ненаписанным. Жихареву приходилось работать по готовому трафарету, по указке «Подлинников». Жихарев говорил:

— Связали нас эти подлиннички... Надо прямо сказать: связали.

Мечту Жихарева осуществила нынешняя, узнавшая свободу творчества Мстера.

В Московском художественно-промышленном институте хранится одна из ранних мстерских миниатюр — «Тамара и Демон». В ней еще очень заметны традиции иконописи,— так и кажется, что это личник Жихарев написал наконец привидевшийся ему когда-то образ.

Десятки Жихаревых стали художниками. А ученик иконописной мастерской Алеша Пешков, впервые познакомивший мстерских «богомазов» с художественным словом, давно сделался любимым писателем трудящихся.

Произведения Горького тоже иллюстрируют мастера Мстеры. Брягиным написана миниатюра «Буревестник»: кипящее море, орнаментальные тучи с молниями и буревестник над завитками волн.

Горький читается и почитается художниками наряду с Лермонтовым и Пушкиным.

Брягину же принадлежит «Железный поток», иллюстрация к повести Серафимовича, полная глубокого настроения. Южная лунная ночь. На всем — тонкая голубая дымка. В синей воде отражается лунное золото. Друг за другом идут и едут по дороге вооруженные всадники. Миниатюра звучит, как дальняя песня в поле.

Клыков-сын пытается передать в красках рассказы Чехова «Крыжовник» и «В овраге». Дмитриев перевел на цветистый язык миниатюры поэму Некрасова «Дедушка Мазай и его зайцы». Гурьянов — «Коробейников».

Но больше всего иллюстраций к Пушкину.

Великий народный поэт оказался особенно близок и понятен народным художникам. Образы пушкинских сказок, баллад и поэм ожили в фантастическом мире орнаментальных трав, деревьев и горок. Сочетания слов перецвели в сочетания красок, их ритм стал ритмом линий. Если художники Палеха год за годом создавали своего, палехского Пушкина, то и для Мстеры пушкинская поэзия стала неиссякаемым источником вдохновений и новых тем.

Старейший мастер Мстеры Николай Прокофьевич Клыков передал в своих лилово-сизых тонах «Песнь о вещем Олеге».

Котягин в четырех сценах, или, как выражались иконописцы, «клеймах», искусно размещенных на маленькой пластинке, рассказал кисточкой «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». Тонкая кисть мастера изобразила, как девка-чернавка ведет царевну в лес, как царевна попадает в терем семи

братьев-богатырей, как нищая черница бросает ей отравленное яблоко и, наконец, как королевич Елисей пробуждает спящую в хрустальном гробу невесту.

«Сказку о царе Салтане» иллюстрировали три художника: Котягин, Дмитриев и Брягин. Последнего сказка вдохновила не на одну миниатюру.

Брягин нарядил в узорчатое платье своей живописи целую вереницу пушкинских строк. Вот брошенные в море царица и ее сын выходят из бочки на берег. Вот царевич стреляет в коршуна-чародея, и девушка-лебедь обещает ему за избавление от врага свою помощь. Вот мать и сын входят в неведомый город:

Все их громко величают
И царевича венчают
Княжьей шапкой и главой
Возглашают над собой.

Эти работы Брягина и Котягина филигранной своей отделкой, вложенным в них изощренным мастерством напоминают те «людницы» — иконы со множеством мелких изображений,— которым удивляются знатоки иконописи.

На «Сказке о рыбаке и рыбке» пробовал свои силы — еще до «Цыган» — Николай Култышев, избрав ту сцену, в которой старуха говорит старику:

— Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море.
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках.

Гурьянову понравилась «Сказка о золотом петушке», и он нарисовал царя Додона над трупами сыновей и Шемаханскую царицу возле входа в шатер. Нарисовал также иконные деревья, скалы и голубое небо с нежными кудрявыми облаками.

Брягин решил иллюстрировать все сцены «Сказки о золотом петушке». Начал он с конца сказки, со стихов:

Петушок слетел со спицы,
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился...

Композиция, написанная Брягиным на эти слова, по своим художественным достоинствам находится на уровне его лучших вещей. На миниатюре — колесница с Додоном и Шемаханской

царицей, золотой петушок над головой царя, зданья сказочного города.

Вступлением к поэме «Руслан и Людмила», где почти каждая строка содержит завершенный образ, пленился Котягин.

У лукоморья — дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом,—

эти стихи неоднократно воплощались в живописи Палеха. Александр Федорович попробовал передать их в мстерском живописном стиле и в своей, котягинской, манере. Зеленый дуб с русалкой на ветвях, ученый кот на золотой цепи, избушка на курьих ножках и прочие сказочные дива повторены его кистью на большой пластинке «Лукоморье».

От пролога поэмы «Руслан и Людмила» мастера переходят к самой поэме.

Дмитриев сделал миниатюру из строки: «Уже Фарлаф ко граду мчится», изобразив дорогу и летящего по ней к сказочному городу всадника. Отдельные сцены «Руслана и Людмилы» рисовал и Брягин.

«Цыган», кроме Морозова и Николая Култышева, иллюстрировал Овчинников. Он же написал миниатюру «Бахчисарайский фонтан». Кистью Николая Култышева, особенно обогащенного Пушкиным, сделана иллюстрация к «Русалке»: мельница, мельник, зажавший в руке мешок с княжескими червонцами, удаляющиеся всадники.

Котягин, читая «Евгения Онегина», облюбовал в романе песню девушек:

Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки...
Заманите молодца
К хороводу нашему.
Как заманим молодца,
Как завидим издали,
Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной,—

и нарисовал улицу с зелеными садами, нарядного молодца, лукавых красавиц, готовых засыпать гостя ягодами.

Миниатюра Брягина «Кавказ» — одна из попыток подойти к пушкинской лирике — интересна по своему композиционному построению. Пастух со стадом, горец-наездник, парящий в воздухе орел, сам поэт, стоящий у края стремнины,— все эти образы перенесены из стихотворения на рисунок любовной рукой внимательного читателя.

Среди пушкинской прозы внимание художников привлек «Дубровский». Над отображением этой темы в миниатюрной живописи работали два мастера: Морозов и Клыков-отец. Большая картина Н. П. Клыкова, изображающая нападение Дубровского на свадебный поезд, написана с тем тяготением к правде реализма, которое все больше становится основой мстерского стиля.

Вот далеко не полный перечень того, что сделано народными художниками Мстеры по воспроизведению литературных образов на папье-маше.

Художественное слово, с которым мстерские мастера впервые познакомились через Алешу Пешкова, прочно вошло в обиход современной Мстеры. И если личник Жихарев мог только мечтать о радости свободного творчества, то земляки Жихарева, нынешние миниатюристы, пьют эту радость всею грудью.

УРОЖАЙ

В середине августа мастера ходили к слободским колхозникам косить овес.

Широко и мерно взмахивал косой с приделанным к ней лучком степенный, шестидесятидвухлетний Павел Александрович Морозов, бригадир полировочного цеха. Рядом косили молодые.

Валы ложились по полю золотым орнаментом.

А вдали по луговой тропе шли грибники с корзинами. После дождей проскочили грузди и белые.

На все был нынче урожай: на полевые злаки, на лесные, садовые и огородные плоды.

Над заборами, среди жесткой, подсохшей листвы, круглились тугие, светлозеленые и краснощекие яблоки. Мальчишки бросали в них с улицы камнями и палками. Яблочный град стучал по земле.

Мальчишки жадно глядели в заборные щели на упавшие яблоки:

— Вон лежат! Эх, достать бы!..

И под кистью Василия Никифоровича Овчинникова тоже поспевали плоды: без них был бы непраздничен «Праздник урожая».

Мастер писал бордовые яблоки, алые помидоры, яркозеленые огурцы, фиолетовую свеклу, голубоватую капусту, огромные желтобокие дыни и тыквы.

Василий Никифорович выращивал на картине фрукты и овощи потому, что любил выращивать их в жизни. Потому, что его Анна Тимофеевна была «лесной бабушкой», а Муза походила на юную голенастую березку. Потому, что он, хотя и провел полжизни в городе, в иконописной мастерской,— сердцем был привязан к родной земле и к людям, которые работают на ней.

Александр Иванович Брягин писал свой «Путь к социализму» потому, что ему хотелось спеть песню в красках. Звучание своей души он превращал в музыку цветов и оттенков, в их радостную гармонию.

А «Героика» Александра Федоровича Котягина росла из того мира, с которым его связывали книги, газеты, радио.

Александр Федорович славил красками героизм ученого, метростроевца, водолаза, летчика,— героизм труда и мысли. Мастер шел в своей работе от тех дум и чувств, какими заряжала его действительность.

ЖУРАВЛЕВ С. П.

Комсомол в Красной армии

СТАРКОВ Н. С.

Колхозный праздник

КРАСКИ—РАДОСТЬ

Художник иногда кажется людям каким-то добрым волшебником, а его искусство—чем-то неожиданным и чудесным.

Работая у немецкого помещика, Котягин взялся поправить роспись на стенах столовой. Он приготовил краски, кисти и сделал все, что требовалось.

Когда хозяйка дома увидала работу русского пленного, она всплеснула пухлыми розоватыми ладонями и, как кукла, в восторге закатила голубые глаза:

— O, mein Gott! Alexander! [1]

Потом засуетилась, заклохтала, начала звать мужа:

— Iohann! Hans!

Пришел помещик, толстый, краснолицый, с сигарой во рту. Поглядев на блестевшие свежей росписью стены, на пленного художника с запачканными руками, он удовлетворенно буркнул:

— Sehr gut[2].

Достал из кармана сигару и толстыми пальцами в знак особенной милости вставил ее в рот живописцу...

Василий Никифорович Овчинников жил в доме отдыха. Его привыкшие к кисточке руки устали быть без дела. Он не вытерпел. Достав краски, начал писать картину. Все наблюдали за работой мастера, хвалили его искусство:

— Вот это — да!

Скромный Овчинников точно взлетел над всеми окружающими. Такой незаметный в первые дни, он теперь обратил на себя всеобщее внимание. Даже заведующий домом приходил смотреть, как работает художник.

Наступило время уезжать домой. Заведующий не пускал:

— Останьтесь, товарищ Овчинников. Нарисуйте нам еще картину.

— Отпуск кончился, работать нужно.

— Мы все уладим.

---

[1] Боже мой! Александр!

[2] Очень хорошо.

Но Овчинников всеми мыслями и чувствами уже был дома, в Мстере.

— Нет, пора.

И уехал...

Мстерская миниатюра появилась после ремесленнических икон и таких же ремесленнических ковров. Появилась, как чудесная неожиданность. Как зеленый росток из-под снега.

Семя древнерусского искусства таилось в народе столетиями. Оно долго не находило условий для прорастания, но не погибло. Революция пробудила, раскрыла творческие силы народа.

И семя дало росток. Его прорастание совершилось по тем же законам, что и прорастание набухшего весенней влагой, почуявшего солнце ржаного зерна.

Народные художники Мстеры в маленьких своих картинках пытаются передать великое: огромный размах эпохи. Но им тесно в пределах миниатюры, в ее золотом обрамлении. Их манят широкие глади стен.

— Мы ведь фрескисты,— говорил Котягин на собрании мастеров.— Все мы работали в храмах и знаем технику стенописи.

Все старшее поколение Мстеры писало и реставрировало фрески в московском Кремле, в Костроме, Ярославле, Новгороде и других городах. И в наши дни часть мстерцев продолжает работать по реставрации старинной фресковой живописи.

Художников манят пространства стен. Мастера хотят, чтобы их искусство стало поистине народным. Чтобы их краскам радовались сотни тысяч глаз, сотни тысяч тех новых людей, для которых они работают.

В Мстере отделывается Дом художника,— в нем будут отдыхать художники, приезжающие в Мстеру на лето. Мастера решили украсить его стены своими росписями.

Перед вечером, убрав со столов свои кисточки и краски, человек пять мастеров и московские гости пошли смотреть, как подвигается отделка дома.

Ступая по стружкам и опилкам, переходили из комнаты в комнату.

Вот здесь будет столовая, а там красный уголок. Здесь вознесутся в лазурь стройные брягинские города, запестреют цветы Овчинникова, встанут легкие леса Клыкова и засинеют его воды. Тут запоют звучные котягинские краски.

На стенах комнат разольются моря-океаны, и отважные исследователи поведут по морям в Арктику свои корабли. Летчики взлетят в стратосферу. Праздничные хороводы закружатся на зеленых луговинах.

Александр Иванович Брягин, склонив к плечу голову в белой фуражке, невидяще смотрел своими лучистыми глазами на негладкую, еще не оштукатуренную стену. Смотрел так, словно перед ним уже вставали образы новой композиции.

Он сказал Котягину:

— Вот и новое дело готово, Александр Федорович.

Сдерживая свой густой голос, Котягин ответил:

— Что же, дело знакомое, не привыкать...

И его слова гулко отдались в пустой комнате.

Дела впереди было много.

ПИСЬМО

За окнами голубел ранний вечер, в морозной мгле желтели городские огни, бежали поседевшие трамваи. А конверт с почтовым штемпелем «Мстера, Ивановской области» будил воспоминание о знойных днях лета, о луговых цветах и пахучем полевом ветерке. Но лето давно прошло, Мстера стала иной. И о мстерских новостях и переменах писал своим ивановским друзьям Александр Иванович Брягин:

«За последнее время у нас было очень много работы. Пришлось заниматься с практикантами-студентами художественно-промышленного техникума,— их понаехало к нам из Москвы двадцать четыре человека. Да и своя профшкола требует постоянной помощи художников. А тут еще подготовка к выставкам.

Я готовлю композицию на тему «Жить стало лучше, жить стало веселее». Это будет очень крупная вещь: 85×55 см. Несколько эскизов к ней у меня уже сделано и послано в Москву на просмотр жюри...»

Александр Иванович сообщал и о том, чем заняты другие художники: Овчинников работает над большой композицией «За 7—8 миллиардов пудов хлеба»; самый старый мастер артели Николай Прокофьевич Клыков закончил картину «Дубровский», а самый молодой, Федя Шилов,— миниатюру «Сбор плодов». Недавно мстерские мастера вместе с палешанами украшали московский театр Народного творчества. А скоро поедут в Кисловодск расписывать санаторий Всекопромсовета. Искусство Мстеры пошло в народ.

Мстера лежала за седыми лесами, за голубыми лунными равнинами. Но письмо Александра Ивановича сделало ее близкой и ощутимой.

Вот они, белые мстерские улицы, запушенные сизым инеем сады, снежные слепящие дали. Мысленно мы смотрели с Набережной на волнистое полотно поймы. Искристые сугробы подступили к артельной мастерской и к двухэтажному дому на Нижней улице, где писал Александр Иванович свое письмо.

«...Только что пришел из артели. Немного почитал, послушал музыку: по радио часто передают хорошие вещи. И почему-то захотелось написать вам...»

Милый Александр Иванович! Нам чудилась его комната, фикус-великан, стол, убранный белой скатертью, и он сам, светящийся своей всегдашней мягкой улыбкой. Может быть, в то время, когда его карандаш набрасывал эти тесные, лепящиеся одна к другой строки, Анна Никифоровна плела свои вологодские кружева, а на столе лежала книга с ленточкой-закладкой в середине. Может быть, взгляд Александра Ивановича упал на ее знакомый переплет, и в памяти ожили пленительные стихи, которые он читал перед этим.

«...Снова влюбился в произведения нашего великого поэта А. С. Пушкина. Есть у меня мечта: нарисовать несколько миниатюр к его лирическим стихотворениям. Вообще очень хочется работать. И жаль, что дни такие короткие...»

В зимние короткие дни художники Мстеры, начинают работу с огнем. Приходя по утрам в артель, они гуртом сметают с валенок снег, снимают пальто и полушубки, садятся за столы. Комнаты наполняются запахом улицы, говором. В комнатах чисто, от изразцов печки веет душистым теплом.

Отрываясь от работы для того, чтобы покурить в коридоре (в комнатах не курят — берегут воздух), мастера говорят о последних мстерских событиях, вспоминают маневры, происходившие осенью в окрестностях села. В те дни немало красноармейских экскурсий побывало в мстерском музее и художественной артели. В те дни стихи Антоновского о пяти лучших мастерах Мстеры были написаны крупными буквами на большом плакате,— и все, кто приходил смотреть на миниатюры, читали и хвалили произведение артельного стихотворца:

— Складно и правильно написано.

При осмотре миниатюр посетители — красноармейцы часто удивляли художников меткими суждениями об их работах, чутьем прекрасного.

Зажав между указательным и безымянным пальцами папиросу, сдвинув на лоб большие черные очки, Александр Федорович Котягин говорит:

— Да, у масс здоровый вкус к искусству. А мы на кого работаем, как не на массы? Вот на репинской выставке...

Недавно Котягин и Овчинников ездили в творческую экскурсию. Видели Ленинград, Детское Село, ходили по музеям и картинным галлереям.

Котягин говорит о картинах Репина, о скульптурах, об архитектуре дворцов, о величавом размахе новостроек.

— Очень освежают такие путешествия. Новые впечатления, новые мысли... После и работается как-то лучше...

Покурив, мастера возвращаются к своим столам. В электрическом сиянии радугой играют краски миниатюр. Под кисточками мастеров расцветают лесные поляны, появляются синие озера, убираются листвою деревья. А на дворе — мороз, скрип саней; заиндевелые провода повисли широкими серыми тесемками.

В морозные вечера, когда в черном небе трепетно горят звезды, доволен Александр Федорович Котягин: его громкоговоритель звучит чище.

Зимними вечерами домик Антоновского превращается в клуб: в расписной комнате допоздна распевает и пляшет под гармонику мстерская молодежь. А когда затихнет гармоника, на смену ей появляется газета.

— Теперь почитаем, побеседуем,— говорит Федор Васильевич вспотевшим танцорам.

И наставительно прибавляет:

— Надо знать, что на свете делается...

В морозные ночи Василий Никифорович Овчинников, надев прямо на белье заплатанный полушубок, идет в коровник — подложить корове корму, укрыть ее старой дерюгой.

В выходные дни любители уженья, захватив рыболовные принадлежности, отправляются на реку «блеснить» рыбу.

Гулко ухает по звонкому льду крепкая сталь. Мелкие осколки льда и водяные брызги летят в стороны и в лицо рыболову. Но вот прорубь готова. Рыбак опускает в темную зимнюю воду «блесну»—самодельную оловянную рыбку с впаянным в нее крючком—и ждет того момента, когда привлеченная блеском щука схватит приманку.

А в домах прилежно клонятся над пяльцами женские и девичьи головы. Огороды и поля — под снегом, времени для рукоделия много.

О строчеях-рукодельницах тоже упоминал в своем письме Александр Иванович:

«Нам поручено сделать для местной строчевой артели рисунки в нашем, мстерском, стиле. По ним строчеи будут вышивать...

Клееночная фабрика уже работает по нашим образцам. Приезжайте смотреть на новые клеенки. Есть очень красивые. И вообще увидите много нового. На площади перед ар-

телью поставлен памятник В. И. Ленину. Осенью сделали дорогу от Мстеры до станции. Обещан нам автомобиль. Отпущены средства на библиотеку, а вы знаете сами, как нужна нам хорошая книга...»

Мстеру обступили леса, обложили сугробы. Но нынешняя Мстера уже не та, что при купцах. Провода, рельсы, радиоволны соединяют село художников со всем миром. Нынешняя Мстера — живая, растущая клеточка большого тела.

Все, чем живет страна, что волнует ее,— волнует и народных художников, возникает на пластинках из папье-маше «Праздниками урожая», иллюстрациями к Пушкину и такими композициями, как «Жить стало лучше».

В радостных красках мстерских миниатюр отражается жизнь великой страны и ее народа.

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Брягин А. И.,	Вольга и Микула	16—17
Котягин А. Ф.,	Героика Советского Союза	25
Брягин А. И.,	Битва	26
»	Уборка урожая в поле	27
»	Праздник урожая	28
»	Жатва	29
»	Бахчисарайский фонтан	29
»	Счастливая жизнь	30
Котягин А. Ф.,	Сбор плодов	31
»	Тройка	31
»	Сказка о царе Салтане	32
»	Русалка	32
»	Дорожное строительство	40—41
»	Охота (Шота Руставели—Барсова шкура)	49
»	Крестьянин и река	50
Овчинников В. Н.,	Степан Разин	51
»	Пушкин в Крыму	51
»	Красноармейцы на отдыхе	52
»	Бурлаки	52
»	Разведка	53
»	Рыбаки	53
Котягин А. Ф.,	Братья разбойники	54
Клыков Н. П.,	Во саду ли в огороде	54
»	Капитанская дочка	55
»	Дубровский	56
Котягин А. Ф.,	Руслан и Людмила	64—65
Овчинников В. Н.,	Колхоз на покосе	72—73
Клыков Н. П.,	Лесозаготовки	81
»	У колодца	82
»	Охота на уток	82
»	Близко города Славянска	83
»	По улице мостовой	84
»	У колодца	84
»	Охота на зайца	85
»	Капитанская дочка	85
»	Выход на работу	86
Морозов А. В.,	Емельян Пугачев	86
Клыков Н. П.,	Красноармейцы в лагерях	87

Дмитриев Г. Т.,	Бахчисарайский фонтан	83
Клыков Н. П.,	Сбор грибов	96—97
Дмитриев Г. Т.,	Охота на оленя	113
»	Руслан и Людмила	114
Серебряков И. А.,	На оборону страны	115
»	Дубровский	116
Морозов К. Е.,	Хаджи-Мурат	117
Гурьянов Н. Т.,	Выпуск стенгазеты в Красной армии	118
Тюлин И. И.,	Пейзаж	119
Савин В. И.,	Хоровод	119
Кораблев Н. А.,	Капитанская дочка	120
Клыков Н. П.,	Колхозный урожай	126—127
Шилов Ф. Г.,	Сбор яблок	136—137
Краснов М. Ф.,	Капитанская дочка	145
Старков Н. С.,	Кларнет и рожок	146
Краснов М. Ф.,	Хлебосдача	147
Шилов Ф. Г.,	На покосе	148
Шепуров К. Е.,	Руслан и Людмила	149
Громов А. Н.,	Илья Муромец	150
Горев С. А.,	Военная учеба молодежи	151
Хорев В. И.,	Рыболовы	152
Белова Н. Ф.,	Русалка	152
Култышев Н. М.,	Партизаны	160—161
Мухин А. Д.,	Чапаев	176—177
Брягин А. П.,	Золотой петушок	186—187
Журавлев С. П.,	Комсомол в Красной армии	193
Старков Н. С.,	Колхозный праздник	194

СОДЕРЖАНИЕ

МСТЕРА 7
Три композиции 9
ХУДОЖНИКИ ТОНКОЙ КИСТИ 13
Утро 15
Встреча 20
Собрание мастеров 23
Лирика красок 36
Голоса мира 44
Истоки прекрасного 57
Новая картина 59
Удаки 62
Старый мастер 64
Художник-учитель 68
Зарождение стиля 70
Зима на миниатюре 71
«Цыганы» Николая Култышева 72
Цветочная кошница 74
Ярмарка 75
Гармонь 78

ПРОБЕГ КИСТЬЮ 91
Сокровища веков 93
Русские голландцы 96
Пробег кистью 98
От станка к кисти 99
Бабочка 101
Мастера жизни 102

РОМОДАНЬ 105
Мстерские были 107
Музей 109
Ромодань 122
На лавочках 125
Старая Мстера 126
Купцы 131
Офени 134
Старинщики 135
Вечер воспоминаний 142
Иконники 154
Поэт и купец 162
Два изобретателя 166

КРАСКИ—РАДОСТЬ 169
Газета художников 171
Клеенка и полотно 173
Художник Мазин 177
В лугах 180
Зачинатели и продолжатели 184
Слова и краски 186
Урожай 191
Краски — радость 195
Письмо 198

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников изд-во просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, Б. Гнездниковский пер., д. 10, изд-во «Советский писатель».

Отв. редактор М. Гус
Техн. редактор М. Терюшин

Наблюдение за печатью М. Зеликсон
Корректор Е. Бокшицкая

Уполн. Главлита А-10163. Тираж 10.000. С. П. № 1.
Сдана в производство 21 марта 1937 г. Подписана к печати 23 мая 1939 г. Колич. печати. листов 13+11 вклеек. — Учетн.-изд. лист. 11,6
Колич. печ. зн. в листе 26 864. Бумага 72×110/16. Заказ 2109.

3-я фабрика книги «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига». Москва, Краснопролетарская, 16.

Цена 14 руб.
Переплет 2 р. 50 к.

172